



Дизайн автора

МАССАЖИСТ

Роман

«Пусть тебе приснится Пальма-де
Мальорка...»

Из песни

1

Шеф остался в казино, где уже успел просадить двадцать тысяч баксов, и теперь, естественно, будет играть, пока не вернет хотя бы одну. Меня с Макси он услал на борт. Она ему явно мешала. Из-за нее он поставил не туда. Он послал ее на три буквы. Она обиделась, но не ушла. Он подозревал меня. Я вышел с ней на улицу. Вокруг стояла жирная ночь, над головой – жирное небо с жирными звездами. Жирная вода, почти без движения. Макси спотыкалась на своих высоченных каблуках и материлась почему зря. Она его ненавидела. Она ненавидела, когда он посылал ее на три буквы. К сожалению, в последнее время слишком часто. Она вспоминала о своей бедной мамочке из Вятки и о бедном русском народе, который голодает. Она давно не была дома и считала, что там по-прежнему голод, который, собственно, и погнал ее на Запад. На Западе ее жизнь не очень-то задалась, она работала стриптизершей в разных странах, имеющих отношение к Средиземноморскому бассейну, – она любила тепло и море – в Барселоне мой шеф на нее и запал.

Макси – потому что по батюшке Максимовна – красивая девушка, не спорю. Но не в моем вкусе. Точно копия куклы Барби, только живая, говорящая. Совершенно непонятно, каким образом производит таких живых Барби наша глубинка. Но это факт. Говорил же старик Достоевский, что русская душа открыта настежь всему западному, или как-то так. Такой западной Барби не встретишь и на самом Западе.

Почему не в моем вкусе? Кукла – она и есть кукла. Но шеф к ней привязан. Маленькие некрасивые мужчины только с такими, как она, и преодолевают свои комплексы. Можно сказать, что он ее любит. Она же его – нет. Поначалу, может, любила. Дорогие тряпки, отели, рестораны, отдых на Маврикии, на Галапагосах... Как тут не полюбить. Но теперь – нет. Теперь она вспоминает свою Вятку, какого-то Кольку, одноклассника, и то и дело задерживает взгляд на моих бедрах, на животе. Все это у меня покрыто мускулами, каких нет у шефа, худосочного и сизо-белого, как процеженное молоко, несмотря на Маврикий и Галапагосы. Просто кожа шефа не воспринимает солнце – удел всех рыжих, когда летний вариант отличается от зимнего лишь количеством веснушек.

То, что Макси тайком посматривает на меня, мне не нравится. Женщины – это всегда головная боль. Они очень часто живут самочувствием своего лона. Что такое вагина? Незаживающая рана, мокрая и смертельно опасная, там вечно варится какое-то варево, зелье, и ничем этот дьявольский процесс не остановить. Там готовится яд, которым потом пропитывают яблоко, протянутое тебе. Попробуй, красавчик...

Макси продолжая материться, занимает нос в резиновой лодке о двух сумасшедших моторах, я завожу один из них. Он утробно взрывает, как тигр в джунглях, и спустя минуту мы на яхте. Она стоит посередине бухты – вокруг на нитку набережной нанизаны сверкающие бусины света.

Это ожерелье огней, где бы мы с шефом ни останавливались, всегда волнует меня. Мне кажется что за ними, огнями, другая жизнь, не чета моей. Другая, настоящая. Как будто еще минуту назад я не был там собственной персоной. Так устроена наша психика – счастье, тепло, покой – всегда на расстоянии взгляда, но не рядом, не с нами.

На яхте один лишь шкипер Саид, турок из Измира, знающий по-русски сто самых необходимых слов. Измир – значит, Смирна, древнегреческие дела. Все турецкое побережье – это Древняя Греция. Там куча памятников. Не понимаю, как греки смогли с этим смириться. Саид немного с приветом, чем напоминает мне аборигенов Балеарских островов, где мы теперь болтаемся. Все островитяне (а Саид родился на Лесбосе) таковы. Инцест, нехватка свежей пришлой крови. Привет Саида выражается в необычайной улыбочивости – его можно принять за просветленного, он всегда всему рад. Жизнь как бы преподносит ему бесконечные подарки. Можно позавидовать. Ведь жизнь – это то, что мы о ней думаем, а вот какая она на самом деле? Может, на самом деле ее и нет вовсе. Когда я буду старым, я поселюсь где-нибудь здесь, на Мальорке. А пока... Пока я служу шефу. Я его бодигард и массажист по совместительству. Раньше у него было еще два охранника, но я всех пережил, точнее – выжил. У меня куча преимуществ – не пью, не курю, не сорю деньгами, к тому же я ни разу не спал с его телками. Шеф платит мне пять тысяч баксов в месяц – этого здесь вполне хватает, а в России я и вовсе кум королю.

Я говорю Саиду, чтобы отогнал лодку к причалу и ждал шефа. Саид уплывает, подарив нам улыбку счастья. Любое поручение вызывает у него экстаз. В темноте растворяется белая грива взбаламученной винтами воды. Как борода Нептуна.

Жирное небо в жирных звездах.

Макси покает каблуками возле бара, делает себе коктейль – «мартини», содовая, еще какой-то ликерчик. Ее любимый букет – чтобы послаще и подушистей.

– Выпьешь со мной? – поднимает она в мою сторону бокал.

Я отрицательно мотаю головой. Могла бы и не спрашивать.

– Выпей со мной, пай-мальчик. Шеф не возражает, чтобы ты выпил со мной. Давай! Расслабься. Сколько можно бдеть? Крыша поедет. Будь мужиком.

– Я не пью не из-за шефа.

– Что, здоровье бережешь?

– Мне нравится быть трезвым.

– На, расслабься.

Макси с двумя полными фужерами подходит ко мне и наставляет на меня полушария своих едва прикрытых снизу грудей. Я знаю, что они идеальны. Она привыкла загорать нагишом. Но я никогда ее не хотел. Мне кажется, что вместо лона у нее машинка с вибромассажем. Машинка с десятью или сколько-то там ритмами вибраций. А лоно – это личина, нет, больше – личность. У дуры и лоно глуповато. В сексе я не размениваюсь на пустяки. Макси для меня пустяк, пустячок, пустышка. Я не торчу от красоток. Мне нужно другое. Чтобы было что-то в глазах. Мне нужна любовь. Я, может быть, последний романтик среди этого тотального блядства.

С берега под цветные вспышки с фасада казино доносится сумасшедший гитарный перебор Пако де Люсии, крутится вертушка огней, кто-то еще подъезжает на крутых тачках... Когда это кончится, господа? Когда наконец вы промотаете свои состояния?

Казалось бы, уже давно распался союз нерушимых республик свободных, а я все не могу привыкнуть, осознать, что у нас больше нет той страны, той, по которой я привык колесить с юности. Ташкент, Ереван, Алма-Ата, где проходили всесоюзные соревнования, Рига, Таллин, Киев наконец, а еще Крым, где было столько всего... Ничего этого для меня больше нет. Моя родина

обнищала и распалась. Моя родина похудела. Раньше она очертаниями своих границ походила на быка, теперь – разве что на тупоносую гиену. Даже Макси наполовину хохлушка, – это с Украины у нее такие распахнутые очи, такой тугой и звонкий, как бубен, зад. Если бы шеф захотел, Макси могла бы смело конкурировать с претендентками на звание Мисс Европа и Мира. Но он этого не захотел. Он держит ее взаперти, только для себя. А у Макси получилось бы. У нее все для этого есть. С точки зрения формы. Вообще сейчас время форм, красивых форм. Содержание не обязательно. Форма – это и есть содержание. Красиво? Оу, йес!

Такие, как Макси, встречаются раз в десять, ну, пусть даже в пять лет. И вот этот раритет стоит передо мной, нацелив в меня снаряды своих грудей, и хочет непонятно чего. Просто внимания? Женщина всегда претендует на внимание. Женщина осознает самое себя, лишь когда на нее смотрят, когда она нравится. Она материализуется под взглядами. Она гораздо эфемерней мужчины. Эфирное создание, она готова жить в мечтах. Женщина несамодостаточна. Потому и такая головная боль от нее. Она все время теребит тебя. Она открыта и ждет, чтобы ее чем-нибудь поскорей наполнили.

Я решительно мотаю головой. Пить я не буду. Одна почка у меня не совсем на месте. Точнее, она – блуждающая. После одного эпизода моей спортивной карьеры она покинула свое законное место и теперь блуждает, знакомясь с другими органами моего тела. Где она теперь, я не знаю. Возможно, в тазу, за мочевым пузырем, на который она поддавливает. Я всегда помню о ней. Иногда на меня находит страх – а вдруг она совсем оторвется... Зачем же гробить ее коктейлем. Представляю себе гримасу почки, когда она примет эту порцию яда.

Макси оскорбленно отходит от меня, залпом выпивает содержимое фужера и говорит голосом оскорбленной капризули, готовой, если что не так, настучать шефу:

– Ну хорошо... тогда сделай мне массаж, – и боясь, что я откажусь, торопливо продолжает с просительными нотками, – у меня спина болит. Правда... И в сердце отдаст. Сегодня я как-то не так нырнула. Спиной ударилась.

Спиной? Когда это она ныряла? Вроде, целый день рядом провели. Я сам любитель рассечь водную гладь, нырнув с борта, с перил, поскольку выше – неоткуда. Спина – это серьезно.

– Что же ты молчала? – озабоченно спрашиваю я.

– Потому что днем спина не болела, – оживившись, говорит Макси, охотно спускаясь по лесенке в каюту.

– Подожди, только душ приму, – продолжает она, – а то я потная. Тебе будет неприятно. – Она делает паузу, на тот случай, если я скажу, что мне наоборот – более чем... Но я молчу.

«Какая забота о моих чувствах», – молча усмехаюсь я, надувая миниатюрным электронасосом довольно внушительный матрас, бархатистый на ощупь. Неплохая штука для массажа, но для сна – не сказал бы. Позвоночник – пациент довольно капризный. Для него нет идеальной поверхности. Для каждого позвоночника она своя, особая. А двух одинаковых позвоночников не бывает.

Макси выходит, обернутая толстым махровым полотенцем, спокойно обнажившись, расстилает его на матрасе и долго укладывается сверху, так чтобы у меня было время рассмотреть все ее неповторимые прелести. Как будто мы их не знаем. Она делает вид, что выполняет неприятную, но неизбежную процедуру, – я же вижу, что ей не терпится ощутить на себе мои ладони. Она любит массаж. От первых моих прикосновений она впадает в транс. Можно брать ее голыми руками. Такова реакция многих женщин. Они как подопытные морские свинки запрограммированы на определенные раздражители.

Я уже сказал, что тело у Макси, как у... Нет, кукольным его я все же не назову. Оно живое, упругое, ягодички дышат телесным теплом, вымытая промежность благоухает лавандой, ступни шелковые, атласная кожа. Короче, наша Маша лучше всех.

Я начинаю с позвоночника, но она, глубоко вздохнув, мурлычет:

– Ножки. Сначала ножки. У меня ножки устали, ломит...

– Поменьше на каблуках ходи, – ворчу я. Мне тоже приятно прикасаться к ней, но я это скрываю.

Я охотно возвращаюсь к ее розовым пяткам на перламутровых незагорелых подошвах, к гибкому своду стоп, глажу, разминаю хрящики... У голеностопа довольно сложная конструкция – больше сорока одних только суставов и связок. Пальцы ног, особенно межпальцевые поверхности чрезвычайно чувствительны – от них к гениталиям поступают прямые сигналы. Есть женщины, кончающие от оральной ласки стопы. Но в нашем случае это исключено, хотя, думаю, Макси не возражала бы. Что-то она сегодня перевозбуждена. Накануне месячных, что ли? Похоже, шеф последнее время не выполняет с ней даже мужского минимума, и наша Макси нервничает. Но я шефа понимаю, у него неприятности, они накатывают одна за другой из России, из Думы и правительства, где у него серьезные связи, которые теперь рвутся по воле нашего президента... Именно через контору шефа в эти дни должен пройти огромный транш – якобы на обустройство культурной среды Великого Новгорода, откуда шеф родом, а по сути – на поддержку игорного бизнеса, отцом которого он там и стал. Вот так – в него вливают деньги с расчетом на крупный откат, а он их выливает почем зря в местном казино...

Пальцы ног у Макси чуткие, она вздрагивает, как от щекотки, и я чувствую, как мои прикосновения отзываются сладким спазмом в ее лоне. Что-то я не о том сегодня. Пора в дорогу, в открытое море. Здесь мы явно засиделись.

– Умираю, – мурлычет себе под нос, уткнувшись этим носом в полотенце Макси, а я, покончив со ступнями, неспешно продвигаюсь вдоль ее стройных ног, загорелых и идеально эпилированных – ни одной волосистой иголки – все выглажено, выщипано, вылизано до невозможности, нежные венки в подколенной ямке чуть вспухли да и икроножные мышцы в тонусе. Я активно разминаю их.

– Ой, полегче!

– Ноги портишь, – говорю я. – Ходи в кроссовках или босиком. Весь день на каблуках – все равно что на цыпочках. Никакая стопа не выдержит. Лет через семь развалится. Инвалидом будешь.

– До тридцати я не доживу, – постанывает она, не в силах противостоять агрессивной ласке моих пальцев.

– Что так?

– Убьют меня, Андрюша. Или сама убьюсь.

– Если кого и убьют, то это меня. Профессия у меня такая убойная. А тебя, – я уже принялся разминать ее бедра, – тебя, если что, просто возьмут в другой гарем.

– Какая гадость... – бормочет она, и я уже не знаю, к чему это относится. По интонации ее голоса, однако, ясно, что жить она собирается долго и счастливо. Как бы не касаясь грешной земли, не спускаясь на нее с высоких своих каблуков. Ей всего двадцать четыре года, а уже Средиземное море, Балеарские острова. Неделю назад в Ибисе, где одни нудисты, она была королевой пляжей, пока шеф не прознал, после чего тут же велел поднять якорь.

Так я добираюсь до области ягодиц и слышу капризное:

– Помассируй попку...

Не в пример ногам, это пока ее самое благополучное место, тут никаких проблем – сплошное великолепие персиковых половинок. У Макси, как, впрочем у большинства женщин, зад весьма чувствителен к тактильным касаниям, и я стараюсь притрагиваться к нему так, чтобы не вызывать эротических последствий. Тщетно. Макси рефлекторно выгибается, приподнимая, вернее, топыря ягодицы, чуть раздвигает ноги, словно чтобы охладить вместилище плотских утех, и оно, это

вместилище, тихо, но внятно чмокает накопившейся в ней влагой желая, и до моих не совсем бестрепетных ноздрей доходит сложный аромат этого выдоха, тонкая смесь искусственных парфюмов с естественным запахом лона, отчасти морским, устричным... Между прочим, обожаю устриц. Пища богов! Много ли нужно для счастья? Тарелку креветок на обед и дюжину устриц на ужин. Считается, что устрицы незаменимы для потенции; есть даже известный анекдот, про то, как из семи съеденных устриц подействовала только одна. Но я не о сексе, я о пищеварении – в устрицах сконцентрирован в наилучшем для потребления виде протеин, а кроме него – чуть ли не вся периодическая таблица элементов Менделеева, весь питательный, строительный и целительный материал для благополучия нашего организма.

Чмокнув лоном, Макси приподнимается на локтях, поворачивается ко мне лицом и садится – ноги согнуты в коленях, и то, что она хочет мне показать, я вижу вполне отчетливо.

– Куда? Я еще не кончил, – говорю я.

– Можешь кончить в меня, – говорит она, – сегодня безопасно.

– Как-нибудь в другой раз, – улыбаюсь я. Я верен шефу, блюду кодекс преданности, ибо знаю, предай я хоть раз, пусть даже в мыслях, когда никто ничего не узнает, и рано или поздно эта моя тайная подлянка обернется против меня же явной бедой. Это как в дзюдо – чуть ошибся, и ты уже летишь через бедро противника. А я дорожу службой у шефа. Она ведь выражается не только в моей зарплате, но и в его абсолютном и безоговорочном доверии ко мне. Это доверие я заработал шестью годами безупречной службы и теми своими – горжусь! – маленькими должностными подвигами, которые, несомненно, украсили нашу мужскую дружбу.

– В другой раз, – повторяю я, пальцем показывая ей, чтобы она снова перевернулась на живот и подставила мне спину, которая у нее не в идеальном состоянии.

– Да ладно – пошутила, – отмахивается Макси. – Дай-ка фужер – там еще сладенькое на донышке.

Я беру с полки ее фужер, протягиваю ей и беру себе второй, от которого было отказался. Я действительно не пью, то есть почти, ну разве что позволяю себе немного сухого. А эти коктейли... Но «мартини» жалую, тем более что на сегодня, вроде, больше никакой работы не предвидится. Саид сам привезет шефа. А мне остается только закончить с Макси.

Я делаю большой глоток и приступаю к спине, точнее – к пояснице, к талии, которая у Макси слишком узкая для мышц, поддерживающих верхнюю половину тела с этим красивым разворотом плеч и шикарной, почти чрезмерной грудью. Макси прогибает спину, как кошка, которую гладят, каждый раз при этом оттопыривая и без того оттопыренный зад, и до моих ушей ритмически доносится нежный хлюп ее лона. Дразнят меня, что ли? Сквозь мои мозги проходит розовая волна и мне становится жарко. Я выпрямляюсь и открываю иллюминатор. Так-то лучше. Плеск под днищем, отдаленный шум с берега, всегда волнующий, когда ты на воде.

– Ну, где ты там? – раздается капризный голос Макси.

Я возвращаюсь к ней, послушно кладу руки ей на спину, на трапециевидные мышцы, которые у нее так хорошо развиты, что образуют впадинку вдоль позвоночника, покрытую сейчас испариной. Макси, видимо, тоже жарко. Я собираюсь помассировать эти мышцы, но вместо этого нагибаюсь и провожу языком по всей длине солоновато-влажной ложбинки. От этого вкуса, от всех этих ее феромонов у меня кружится голова.

Макси замирает, как всегда, когда ей приятно, а я, протянув руку, на ощупь нахожу свой фужер и последним глотком решительно освобождаю его от содержимого. В мозгах приятное кружение, а еще – будто подносят изнутри к глазам прозрачные розовые покрывала. Давление что ли меняется? Может, к дождю? Дождь я предсказываю за день – когда будто ложечкой помешано в моей голове. Но в летней Испании дело редко заканчивается дождем – видимо, он испаряется, еще не долетев до земли. Однако этот глоток, полный сладкой пряности и еще каких-то едва уловимых привкусов, этот непонятный вкусовой букет вызывает во мне целое море совершенно

неожиданных мыслей и настроений, будто вкус вкупе с запахом – это мемориальная дорожка в наше прошлое, на которой сохранились все наши следы, – нет, не дорожка, а сам лазерный луч, считывающий с диска минувшего все лучшие наши мгновения. Я наклоняюсь и снова веду языком от лопаток к ягодицам. Макси молчит, словно ее вполне устраивает происходящее. Как ни странно – теперь оно устраивает и меня. В голове у меня разгорается розовый свет, звучит музыка...

Редкостное телосложение Макси, атлас ее ягодиц, их податливая упругость, муар душистой промежности – все это имеет качества эксклюзива. Я сажусь сверху на Макси чуть ниже ее ягодиц, как обычно сажусь для серьезного массажа спины, и в этот же миг слышу на берегу выстрелы.

– Шеф! – восклицаю я, спрыгивая на пол. Секундой позже она тоже на ногах. Испуганно мы смотрим друг на друга. Мы рабы в услужении, вассалы и верные слуги, мелкие безымянные члены его семьи. От нас ничего не зависит, цена нам – ноль, а шеф бесценен и от него зависит все – не только наше благополучие, но и сама наша жизнь. Мы слишком хорошо понимаем это и почти одновременно вылетаем на палубу.

Почему мне кажется, что это с шефом? Потому что это с шефом. Потому что стреляют только там, где игра по-крупному. Потому что я предупреждал шефа, что нам не надо останавливаться в Мальорке, где уже навалом русской криминальной шпаны. Потому что... Да, потому что мы – я и шеф – связаны невидимой ниточкой, и когда у одного из нас проблемы, другой это чувствует. Богу было угодно, чтобы мы встретились и пошли рядом по жизни. Так шефу нагадали его духи, с которыми он уже давно общается. Кто-то может сказать, что это бред, блеф, мистика, но так было, и их пророчества стали его путеводной звездой. А нагадали ему, что он, бедный инженеришка с телевизионного завода, производящего плохие телевизоры «Садко», станет однажды богатым человеком, очень богатым.

Что происходит там, на берегу, отсюда с расстояния в метров триста, не разглядеть. Все так же крутится световое колесо казино на фоне водопада иллюминации да сверкает опоясывающее бухту ожерелье огней, за которыми угадываются дорогие особняки.

Первой моей мыслью было выбрать якорь и подогнать яхту к берегу, но шеф категорически запретил швартоваться у пирса – из-за той же русской мафии, и теперь я разрывался между желанием прийти ему на выручку, нарушив приказ, и опасением, что этим я могу оказать шефу медвежью услугу. Ведь на самом деле он был много хитрее и предусмотрительней меня – недаром Рак по Зодиаку.

Я набрал номер его мобильного – «аппарат временно выключен». Что это могло означать? Почему он его выключил? Это означало только одно – что он не может его включить... У Саида трубки не было. Что же делать? Макси металась рядом и стонала, держась за голову:

– Его убили! Я чувствую, его убили!

– Замолчи! – рявкнул я, вслушиваясь в тишину. Странно, что до сих пор не прибыла полиция – ни сирен, ни мигалок. Может, нам показалось, и это не выстрелы вовсе, а петарды, которые выпустил какой-нибудь отморозок, проигравшийся в пух, или наоборот, сорвавший Джек-пот. Испанцы помешаны на петардах. Ну да, кто-то что-то отметил на радостях, пальнув в жирное ночное небо, полное жирных звезд, а заодно спугнув меня, чуть не совершившего нечто непотребное...

Но утешающий поток новых соображений не успокоил меня, не снял груза с сердца – оно было явно не на месте. И тут я услышал, как вдалеке рокотнул, заработал мотор, – похоже, на нашем резиновом глассере, и спустя мгновение я увидел белый бурун, пересекающий длинные отражения береговых огней.

– Это они? – вглядываясь вместе со мной в темноту, спросила Макси.

– Да, – сказал я.

Я посигналил фонариком, но мне не ответили. Тревога не отпускала меня. И не случайно.

...Шеф сидел на днище, прижавшись спиной к надувному борту и согнув коленки к груди, маленький, чуть не ребенок. Левой рукой он управлял мотором, а правой через плечо пытался ощупать спину. Пиджака на нем не было. Шефу было больно, и он рефлекторно сжимался в комочек, словно так можно было уменьшить размеры боли. Однако, когда он увидел нас, на его лице сквозь растерянность и боль проступило знакомое ответственное выражение, которое отличает от всех прочих тех, кто заказывает и платит по счету. Это родительское выражение всесилья и всезнания и делало его, как и других, таких же, как он, хозяевами жизни, и потому казалось неприличным и нелепым быть в эту минуту свидетелем его, пусть временной, слабости.

Шеф сам, хотя и не без нашей помощи, взобрался на борт, но на это ушли последние его силы, и он тут же лег животом на палубу, повернув голову в сторону берега. Я хотел спуститься в каюту за аптечкой, но шеф, поморщившись, сказал:

– Это потом. Выбирай цепь, заводи мотор. Уходим. Быстро уходим.

– Что там? – спросил я. – Где Саид?

– Он с ними заодно.

– С кем? – не понял я.

– С Интерполом. Скорей же!

– А лодка?

– Черт с ней. Удирать надо. Скорее. Макси – вниз! Принеси йод, бинты.

Макси, полная раскаяния, преданности и страха, побежала в каюту, а я поднял якорь, включил двигатель и повел катер широким полукругом из бухты в море.

– Свет! – крикнул шеф. – Выруби свет! Топовые огни! Все! Везде! – в голосе шефа была слышна его боль.

Я выполнил приказание, и наша яхта погрузилась во тьму – лишь фосфорно светились утопленные в приборную доску шкалы приборов. Один из них мне совсем не нравился – счетчик горючего. Утром мы собирались заправиться.

Шеф лежал в темноте, справа от меня у самого борта, и Макси колдовала над его спиной, куда и попала пуля. Он категорически воспротивился тому, чтобы мы перенесли его вниз. Сначала надо было оторваться от погони. Но если за нами и собирались гнаться, то явно припозднились, потому что мы уже выходили из бухты, о чем красноречиво мигали маяк на левом, обжитом и залитом огнями берегу, и на правом, где не было ничего, кроме нескольких рыбацких домиков, сейчас едва освещенных.

Наконец мне удалось убедить шефа, что, по крайней мере, в данный момент нам ничто не угрожает, и я могу перетащить его в каюту, а Макси постоит за штурвалом. Опираясь на мое плечо, шеф спустился по лесенке и оказался на том самом надувном матрасе, на котором я чуть не поймел Макси. Я снял с него окровавленную рубашку и убрал тампон, который лейкопластырем прилепила на спину его неверная подруга. Пулевая рана была чуть ниже правой лопатки. Видимо, задето легкое. Нехорошо, хотя и не смертельно. Выходного отверстия не было – значит, надо вытащить пулю. Я еще раз обработал рану спиртом и йодом, положил новый тампон и тщательно перевязал шефа. Под нами тихо урчал двигатель, работающий на малых оборотах.

– Что там у меня? – спросил шеф.

– Пустяки, – ответил я. – Жизненно важные органы не задеты. Кости, вроде, тоже. Только мягкие ткани. Повезло.

– Мне тоже так показалось, – пробормотал он.

– Что случилось, шеф? Кто стрелял? Почему?

– Почему? – передразнил меня шеф. – Нашел время спрашивать...

– Ну один-то вопрос можно?

– Ну давай...

– Куда мы теперь? Нас что, ищут?

– Это два вопроса, – ответил шеф. – Держи курс на Сардинию. Посмотри по навигатору.

– Он сломан, – сказал я. – Я не разбираюсь. Саид снимал сегодня какой-то блок, отвозил на берег в мастерскую.

– Понятно... – усмехнулся шеф. – Саид из Интерпола. Они вели нас от самого Измира. Хотели выявить наши испанские связи и арестовать. Теперь им этого еще больше захочется.

Я открыл рот для вопроса, но вовремя спохватился. Отметив мое послушание, шеф сам сказал:

– Кажется, я одного из них ранил... – в голосе его прозвучала горечь. – Не было выхода. Короче, драпать надо, – добавил он. – В нейтральные воды. И как можно скорее. Иди по компасу. По звездам. Сможешь?

Наверху меня встретило небо, звездное небо. Оно вдруг показалось мне огромным, таким, каким я его прежде не видел. Будто в нем открылся какой-то новый смысл, будто эти три выстрела пробили в нем три дыры и сквозь них пролился дополнительный свет. Да, в жизни всегда так – реально ее видишь и воспринимаешь только на переломе, в момент кризиса, в миг серьезной опасности. Одна из звезд медленно, как зачарованная, пересекала небосклон с юга на север, словно указывая нам путь. «Хороший знак», – подумал я, сменяя Макси, а, взявшись за штурвал, тут же увидел другую звезду, торопливо летевшую поперечным курсом, словно звезды спорили, куда нам лучше направиться. В самом деле – куда? Где нас меньше всего ждали бдительные ребята из Интерпола? Что же натворил мой уважаемый шеф? На севере у нас – южный берег Франции, облюбованный русскими с бог знает каких времен, на востоке – Сардиния. А далее, куда улетела и погасла наша звездочка, а точнее какой-нибудь американский разведывательный спутник – что там? Италия, Греция, Турция, которая за нами следит? Опальная Сирия? Провинциальный, то бишь, принципиальный Израиль? Ну, конечно Израиль, ведь у моего шефа двойное гражданство. Почему он выбрал какую-то Сардинию? Да, она ближе всех, но вряд ли там нас ждут дружеские объятия. Скорее всего, там и защелкнут наручники на наших протянутых в интернациональном приветствии руках. А может, лучше на юг, туда, где Ливия, Тунис, Марокко, где много арабов и совсем мало международных законов, не говоря уже о каком-то Интерполе. Единственное, что меня сдерживало в моих собственных навигационных расчетах – это содержимое бака с горючим. Последнего оставалось часов на пять ходу...

Ну и денек выдался. За шесть лет службы у шефа такого еще не было. И куда мы теперь должны плыть – к черту на рога? Казалось диким, невозможным, нелепым, что мой шеф, гарант моего благополучия, лежит там, в каюте, с простреленной спиной, маленький и беспомощный. Он не имел права быть слабым.

По карте получалось, что если плыть на восток, мы действительно упремся в Сардинию, прямо в ее южную курортную часть. Это часов десять ходу, а значит нереально – через пять часов двигатель заглохнет, и мы ляжем в дрейф. Парусов у нас нет, да мы бы с ними и не справились. И все же шеф велел рулить и не останавливаться. Главное – уйти от преследования. А там – вызвать помощь. Но как? Самое неприятное, что произошло с шефом, помимо огнестрельной раны, – это то, что его пиджак вместе с документами и мобильником остался в казино. Макси на днях утопила свою трубку – оставалась только моя. Но толку-то – мы не могли связаться с официальными властями. Небось, уже по всем каналам распространили портрет шефа с лаконичной надписью «wanted». Да, нас хотели поймать, а нам этого совершенно не хотелось.

Я шел на малых оборотах, с выключенными огнями – как летучий голландец. На море штиль, луна на ущербе, небо в звездах, Большая Медведица, только так низко, что вот-вот окунется в море...

Макси несколько раз поднималась ко мне – приносила то кофе, то горячие тосты. О том, что было между нами, – ни слова. Я попросил принести коньяка «Хеннесси», хотя я его и не люблю, – но это самое то, если спать нельзя. Расширяет сосуды, согревает кровь и проясняет мозги. Если, конечно, принимать понемногу, как лекарство. Шеф по ее словам впал в забытие – еще бы, я вколол ему лошадиную дозу анальгетиков.

Ночь и звездное небо располагают к медитации. Особенно если ты на палубе суденышка, крадущегося неведомо куда. Звездное небо всегда действовало на меня одинаково – оно мне говорило: «Кто ты такой? Что ты делаешь? Брось! Забудь! Все это глупости, бред, суета сует». Я прекрасно понимал, что так же, как я, на него смотрели все те, кто был раньше меня, – сотни, тысячи поколений. И всем оно твердило одно и то же – все это глупости, суета и копошня, и рано или поздно все вы вместе и каждый по отдельности это поймете и тогда... Но что тогда? Разве просветленность снимает боль с души? Разве многомудрие беспечально? Выхода нет. Это тупик. Жизнь – это тупик. И звезды – это всего лишь бесчисленные наши вопросы, так и оставшиеся без ответа...

Но после ночи наступало утро, когда небо из огромного, бесконечного, чуждого, вселенского становилось маленьким, родным, почти домашним, холстинка сини с белыми стежками облачков, и можно было заниматься своими обычными делами без оглядки на ту задымленную черную пропасть, которая не замечала твоего присутствия, не знала о твоём нынешнем существовании, как и того, что рано или поздно ты полетишь в эту разверстость ногами вперед, чтобы исчезнуть в ней без следа и памяти и смысла.

Тридцать шесть лет жизни позади, а я как бы еще и не жил. То есть как-то жил, конечно, но с подспудной мыслью, что это лишь предуготовление к настоящей жизни, которая меня ждет и в которой все будет совсем иначе: свой дом, семья, дети – два мальчика – жена, профессия. Всего этого у меня, в общем-то, не было до сих пор. Даже собственной машины – моя шестерка давно развалилась, и теперь я водил «мерс» шефа. Все, что у меня было, на самом деле не принадлежало мне, я был в услужении, я был хорошо оплачиваемым слугой, бодигардом, массажистом, врачом, курьером, дворецким, управляющим и еще чертом в ступе. Иногда мне начинало казаться, что так будет и дальше, что я так и состарюсь рядом со своим хозяином, его верный слуга, ну, как у Обломова. Я срастусь с ним и стану его вторым «я». Он мне передаст все, без чего сам сможет обойтись, только денежки и недвижимость оставит себе, потому что это он умеет наращивать и преумножать так, как я не сумею никогда.

По большому счету деньги и недвижимость – это не то, от чего у меня загораются глаза. По большому счету мои глаза ни от чего, в общем-то, не загораются – пусть я толком и не жил еще, но все равно жизнь прожил, и меня ничто особо не волнует. Когда-то мне нравился спорт, борьба, потом мне нравилось делать массаж, когда я чувствовал себя хозяином положения, главным, человеком на своем месте, лечащим другого человека через подчинение себе или через растворение в нем самом. Очень важно почувствовать себя хоть в чем-то человеком, иначе утрачиваешь чувство собственного достоинства. А без него ты уже не человек.

2

Мать родила меня неизвестно от кого. Ее в семнадцать лет изнасиловали какие-то подонки. Она возвращалась домой после занятий в школе рабочей молодежи, были когда-то такие школы для совмещающих работу с учебой. Школа была на Большом проспекте Васильевского острова, а жила моя мать с родителями неподалеку, на Весельной, где обитали в основном те, кто работал на гигантском питерском «Севкабеле», труба которого круглый год опыляла сажей Васильевский остров. Рядом же было, да и сейчас есть, Военно-морское училище подводников, так что скорее всего мой фазер попал потом на подлодку, и, может, затонул вместе с ней и двумя своими корешами где-нибудь в Баренцовом море. Эти трое будущих офицеров – они были в спортивной одежде, классический наряд самовольщиков – и затащили ее в подвал. Мать никому не сказала,

что с ней произошло. А через четыре месяца, поняв, что беременна, уехала в Кировск на Кольском полуострове, где комбинату «Апатит», добывающему апатито-нефелиновые руды, всегда не хватало рабочей силы. Там, в Кировске я и появился на свет. Там мы и жили вдвоем, в комнатенке общежития. Мать много курила, иногда по две пачки в день. Может, поэтому я вообще не курю. Ей было тридцать семь, когда она умерла от рака легких. А мне было девятнадцать и я уже служил срочную неподалеку – в Североморске, в морской пехоте, то бишь в «голубых беретках». Там и открылись мои боевые таланты, о которых я сам не подозревал, – на последнем году службы я стал чемпионом по дзюдо Северного флота. В институт физкультуры и спорта в Питере (имени Лесгафта) меня приняли чуть ли не без экзаменов, хотя, скажем, сочинение я написал сам, на твердую четверку – остальные оценки мне, само собой, немного натянули. Четверкой этой я горжусь до сих пор – все-таки литература всегда была моей слабостью, я читал много, хотя и беспорядочно, даже за философию брался, Гераклит, Руссо, Сенека... Особенно мне нравился Шопенгауер и еще Шпенглер, который написал «Закат Европы». Живи он сейчас, наверняка написал бы «Закат мира», потому что мир определенно катится в тартарары... Да, с Питером меня связывала мечта детства – обрести своих бабушку и дедушку, я даже нашел улицу и дом, где они жили, Весельная, 12, только вот квартира была занята совсем другими людьми. «Умерли, – сказали мне в жилконторе, – а вы кто?» Кто я – теперь не имело никакого значения. Вещи, документы, фотографии – ведь должно же было остаться что-то – все это сгинуло без следа.

Наш институт отличался от всех других институтов тем, что в нем учились не для будущего, а для настоящего, и потому на всех факультетах можно было встретить действующих чемпионов – Союза, Европы, Мира и даже Олимпийских игр... Ну а прошлых, то есть бывших – в ранге тренеров и преподавателей было здесь, как комаров в июне. Да, все происходило в настоящем – победы, награды, призы, сборы и поездки за границу. Спорт, спортсмены были на особом положении. В той стране, которую мы представляли, спорт был отдушиной, выходом в большой мир по ту сторону железного занавеса, в спорте меньше, чем где-либо, давила идеология, здесь многие из нас ощущали себя элитой общества. Да так по сути оно и было... Даже еда у нас была лучше, чем у большинства, – по спецпайкам и спецзаказам.

Надо было побеждать – каждая победа рассматривалась как триумф строителей коммунизма. Коммунизма не получилось, но в том 1980-м, к которому партия обещала построить материальную базу коммунизма, я был в Москве в команде наших олимпийцев и даже дошел до полуфинала, где судьба свела меня с французом, чемпионом Франции. За полторы минуты до конца схватки я опережал его на два очка. Я готов был атаковать, но тренер крикнул, чтобы я удерживал счет и я стал бегать, отбиваясь от захватов. Француз решил, что я устал, и попер на меня, как бульдозер, – какой-то сопляк побеждает его, действующего чемпиона... Правило номер один в любом единоборстве – никогда не ставить себя на место своего соперника. У меня было еще одно – никогда не смотреть ему в глаза. Зачем видеть в них боль, страх, гнев, презрение, ненависть или торжество? Соперник был для меня лишь препятствием, которое надо преодолеть. Его сопротивление или натиск входили в правила игры. Но то, что я попятился, было роковой ошибкой. Я сам потерял равновесие, чем француз и воспользовался за десять секунд до удара гонга. Он сделал мне подсечку слева, куда я и отступал, – и помню только дугу, которую я описал в воздухе. Он хотел припечатать меня лопатками к коврику, что считается чистой победой, как нокаут в боксе. Я попытался перегруппироваться в полете, чтобы снова, как кошка, оказаться на ногах, но его захват оказался мертвым, – и все, что мне удалось, это приземлиться, а точнее – приковаться, прямо на голову. Остальное помню плохо. Все передо мной поплыло, в глазах взрывались светлые и темные круги. Тренер довел меня до раздевалки – он меня не ругал: горечь поражения мы разделили с ним поровну. В шейном отделе позвоночника горело пламя.

– Пройдет... – торопливо сказал тренер, направляясь обратно в зал, где продолжались полуфиналы с участием наших дзюдоистов. – Полежи немного или лучше повиси...

Я полежал на лавке, потом подошел к шведской стенке и подтянулся, чтобы зацепиться подбородком за навесную перекладину, – верное средство при ущемлении межпозвоночных дисков или смещении позвонков. И вдруг черные круги, расходящиеся в глазах, взорвались ослепительной вспышкой, и от боли, пронзившей спину, я потерял сознание.

Очнулся я в палате больницы Склифосовского, в скафандре из гипса с диагнозом – перелом основания черепа. Травма, плохо совместимая с жизнью. У меня ничего не шевелилось – ни руки, ни ноги. Паралич конечностей. Но голова работала. Голова обдумывала, как выйти из игры. Продолжать жизнь паралитиком в инвалидной коляске я не хотел. Да и не было у меня весомых причин, чтобы за жизнь цепляться. И целей особых не было. Я ведь жил по чужой подсказке. Я выбрал спорт и дзюдо, потому что понравился капитану, который обучал нас рукопашному бою на плацу. В глубине души я всегда сомневался в своем выборе, ибо не считал спорт профессией, а только приложением к чему-то основному. В те времена официально было принято считать, что спорт у нас любительский, и все были приписаны к спортобществам или к каким-нибудь предприятиям, где получали якобы законную зарплату. Сейчас многие сетуют, что наступили времена циничного всевластия денег. А тогда были времена циничного всевластия циничной идеологии. Сейчас все-таки честнее – по крайней мере, все имеет свое конкретное денежное выражение, приближенное к мировым ценам. Тогда же все было перепутано – твердили одно, а делали совсем другое. Даже рубль притворялся. На черном рынке за доллар давали шесть рублей. А тем, кого выпускали за границу, разрешали обменять в родном советском «Внешэкономбанке» целых шестьсот рублей по курсу – копеек семьдесят за доллар. Получалось долларов восемьсот. На эти восемьсот долларов можно было привезти столько всяких там видеоманитофонов, что выручки от продажи хватало на приобретение новых «жигулей», скажем, популярной тогда шестерки. Итого – шестьсот рублей за «жигули», которые стоили тогда тысяч восемь. Вот цена нашего самообмана в обмене с Западом. Десятикратная разница, или, как говорят математики, – целый порядок. То, что у нас подразумевали под материальной базой коммунизма, на самом деле оказалось всего-навсего потребительской нормой в любой мало-мальски развитой капитане.

Ну да ладно. Вернемся к моему параличу. Месяца через три медицина от меня отказалась. Спорт, естественно, сразу же. Я был больше никому не нужен, я стал никем, или точнее – мыслящим растением в гипсовом горшке. Раньше я хоть умел бросить соперника на ковер и сделать ему удержание с переходом на болевой прием – за это меня уважали, за это мне платили. Теперь я не умел ничего, разве что ходить не под себя, а в судно, и это было для меня подвигом. За полгода после травмы я потерял двадцать восемь килограммов. Но в этом лежачем, размером с больничную койку, мире, который мне остался вместо прежнего, большого, мира, был человек, девушка, медсестра по имени Маша, которая кормила меня и обмывала, принося и вынося за мной судно. Маша меня и спасла. Это она привезла меня на инвалидной коляске прямо к Борису Праздникову, между прочим, бывшему самбисту. Под его руками я постепенно зашевелил конечностями... Мне, инвалиду первой группы, даже квартиру не дали, хотя и было обещано. И знаете, почему? Потому что Маша перевезла меня к себе в общежитие, где я мог жить на законных основаниях лишь в звании ее мужа. Мы естественно расписались. Выиграла и Маша, потому что нам, хочешь не хочешь, выделили отдельную комнату. Эта комната на три года стала моим новым миром. Праздников обучил и Машу – и она массировала меня утром, перед тем как уйти на работу, и вечером. Спустя еще месяц-другой я встал с коляски и начал передвигаться с помощью костылей. Невозможно забыть это время – когда я стал возвращаться в собственное тело, вернее, когда оно стало возвращаться ко мне. Это было второе рождение. Это было чудо. Господи, сколько радости приносили нам мои подвиги! Я снова научился держать ложку, я стал сидеть, опираясь спиной на подушку, я научился стоять, держась за спинку кровати, я дошел до туалета по коридору (метров пятнадцать в одну сторону), я кончил...

Денег у нас не было, и Борис же, тогда он уже работал с артистами Большого театра и имел обширные связи, нашел мне подходящую работу – переплетать книги. Вскоре комнатка наша была завалена литературой, современными и дореволюционными изданиями, подшивками различных журналов и многим из того, что по разным причинам было в опале, теми же Солженицыным, Белинковым... Попадались мне и Абрам Терц и Зиновьев с Максимовым и прочие, кого тогда называли диссидентами, – я стал много читать, благо, голова работала и не отказывала мне даже в самые трудные времена. Мое представление о стране, в которой я жил, перевернулось после «Архипелага ГУЛАГ». Странно другое – я ведь все это знал с детства, хотя бы по тому же Кировску, половина, если не больше, населения которого – бывшие зеки, знал, но никогда не доходил до обобщений.

Если раньше у меня была цель стать лучше других, скажем, сильнее, что в нашем примитивном мире до сих пор является одним из главных показателей превосходства (недаром из

Арнольда Шварценегера сделали культовую фигуру), то теперь я хотел быть, как другие, как все, кто передвигается без видимых усилий, кто может встать и сесть и повернуться набок и пойти и лечь наконец сверху на свою любимую и любить ее в активной позе всех нормальных мужчин. А позиция сзади, со стороны ягодиц... Никто из здоровых мужчин и не задумывается, что для этой позы от партнера требуется сильные бедерные мышцы и крепкий позвоночник. Когда я наконец сподобился это проделать, я чувствовал себя Гераклом, поймавшим Эринейскую лань. У Маши же вошло в привычку, находясь в этой позе, самой для меня соблазнительной у женщин, осведомляться – не больно ли мне. Она спрашивала и через три года, когда я забыл о травме. Да, уже через девять месяцев я начал делать легкие пробежки, а через год вернулся к своему стартовому весу семьдесят семь килограммов, что при росте сто восемьдесят пять сантиметров было идеальным соотношением для здорового тела. Однако шея так и осталась моим слабым местом, и мне пришлось качаться, наращивая вокруг нее мышцы, чтобы они заменили снятый гипсовый каркас.

О дзюдо пришлось забыть, как и об институте Лесгафта. Хотя у меня и был академический отпуск, но, обретя наконец снова руки и ноги, я решил, что мне там больше делать нечего. Становиться специалистом по спортивно-массовым мероприятиям, судьей, тренером, защищать на кафедре физиологии кандидатскую диссертацию о работе икроножных мышц борца во время схватки в партере? Занимательно, но это не жизнь... Не говоря уже о том, что мы жили в Москве и сочетать это с учебой в Питере было проблематично. К тому же для двух столиц нашей тогда еще необъятной Родины мы были лимитчиками, то есть людьми без постоянной прописки, с птичьими правами. И все же тогда, как ни странно, тогда у меня была семья, подобие семьи в лице моей жены Маши. Маша заканчивала медучилище и гордилась своей профессией патронажной сестры. В сравнении с моими прежними деньгами ее заработная плата была смехотворной, – всего семьдесят рублей в месяц (инженер зарабатывал 150), но мои переплетные дела заметно поправили семейный бюджет, и мы не бедствовали, хотя и ничего лишнего позволить себе не могли.

Маша, Маша... с детства она привыкла возиться со своими младшими братиками и сестренками, их у нее было шестеро. Потом эта подросток родня из небольшой деревушки в Ярославской области начнет гостевать у нас в своих ежемесячных наездах в столицу за продуктами питания. Все они собирались в будущем перебраться в Москву вслед за своей умной Машей. Да, мы были мужем и женой, но когда я выздоровел, что-то в наших отношениях переменялось. Уделом Маши, патологией ее ангельской натуры была забота о ближнем. А если ближний не нуждался в таковой, он отдалялся. Она искала нуждающихся, хотя, возможно, не осознавала этого. Так постепенно она переключила внимание с меня на свою родню. Ее самоотдача не знала границ. Она была прирожденной сестрой милосердия. Это было ее жизненное кредо. Бывает, что люди становятся такими из-за каких-то комплексов или под влиянием обретенной веры. Но ничего подобного я в Маше не наблюдал – в ее заботах о других не было ни позы, ни корысти, ни идеи – ни духовной, ни материальной. Выздоровев, я понял, почувствовал, что она меня никогда не любила, да и не знаю, могла ли она с такой широкой душой, открытой сразу для всех, любить кого-то одного. Она жалела – вот какой была ее любовь.

Когда я сказал ей, что уйду, точнее – уезжаю в Питер, она не стала мне устраивать сцен, даже не спросила, как я буду там один, что меня задело за живое. Кстати, развод мы так и не оформляли, и в тяжелые минуты, пока она была жива, мне не раз приходила в голову мысль, что я еще могу вернуться... Я уехал в Питер, который мне нравился гораздо больше, чем Москва, и потолкавшись в «Лесгафта», неожиданно для самого себя подал документы в Первый медицинский и был принят.

В то время меня действительно интересовал физиологический феномен человека, а в прикладном смысле – восточные учения о человеке. Это сейчас такой литературы завалишь, а тогда я пользовался в основном рукописными, самиздатовскими или дореволюционными источниками, и в голове моей каким-то образом сопрягались оздоровительные практики типа шиат-су, су-джонк, цигун, меридианы человеческого тела и энергетические каналы, акупунктура, чакры, феншуй и китайские символы инь и ян, носители женской и мужской энергии. Я стал заниматься хатха-йогой...

Чудо собственного выздоровления не давало мне покоя. Массаж, две руки, левая и правая, два ангела-хранителя, вернее – целителя, и не обязательно руки Бориса Праздникова или моей Маши, вообще руки любого человека представляли собой волшебство. О руках мне как-то попались строчки нынче осмеянного Маяковского: «Две стороны обойдите, В каждой дивитесь пятилучию. Называется „руки“. Пара прекрасных рук!» Да, это из поэмы «Человек». По прихоти судьбы именно в этой поэме я нашел подтверждение своих собственных открытий по поводу человека, в ней же – духовную опору. Хотя вообще я поэзии не знаю и ею не интересуюсь. Маяковский стал исключением. Он был, конечно, избранным. По-моему, в молодости он был гением. А потом, уже при советской власти, стал никем. Так я это понимаю.

3

К пяти утра, когда небо побледнело и лишилось своих звезд, я почувствовал, что засыпаю стоя. В таких случаях привязывают себя к штурвалу. Поднялся ветер – он дул прямо в левую мою щеку. Началась боковая качка. Я сбавил обороты, перевел двигатель на холостой режим и спустился в каюту. Шеф спал, напротив у другой стены, на откидной лавке, спала, свернувшись калачиком, Макси. Судя по высунувшейся из-под простыни ягодице, она спала голой. Впервые меня кольнула ревность – я подумал о том, что у них могло быть с шефом, пока я торчал там, наверху. Подумал и решил – что ничего. Не до того шефу.

Я разбудил ее.

Испуганно приподнявшись, Макси несколько секунд непонимающе смотрела на меня, – еще никогда мне не приходилось будить ее в такое время, – смотрела из прошлого, того, какое у нас с ней было до ранения шефа, с теми нашими прежними ролями, и видно было, как складываются ее губы, чтобы послать меня подальше, но я указал ей взглядом на шефа, и в следующее мгновение она осознала нашу переменяющуюся и, прямо скажем, довольно суровую действительность, и печать растерянности совершенно перекроила ее черты. И еще было в ее взгляде нечто новое – зависимость от меня. Я поманил ее пальцем на палубу, показав, чтобы по пути накинула куртку, и вернулся к штурвалу.

Изрядно покачивало. Белые полированные поверхности яхты были мокрыми от брызг. Свинцовый цвет моря, ершистые гребни волн, затянувшееся облаками небо – будто на родной Балтике.

Спустя минуты три Макси, щурясь и вжимая голову в плечи, появилась на палубе. Она зябко ежилась. Вид у нее был несчастный – такой образ она себе, выбрала, рассчитанный, с ее точки зрения, на выживание в экстриме. Мне же отводилась роль благородного рыцаря, спасающего даму. Не уверен, что меня это устраивало. Одно дело – служить шефу, и совсем другое, если шеф выходит из игры...

– Мне надо хотя бы часа два соснуть – иначе сдохну, – сказал я.

– Ладно уж, – шмыгнула Макси носом и тронула штурвал. – Курс?

У нее была привычка шмыгать в сложной ситуации, топыря правую ноздрю, и туда же вправо съезжал край ее рта, – эхо пэтэушного прошлого.

– Дуй прямо на восток, по компасу, на средних оборотах. Не промахнешься.

– Плохо без шкипера, – сказала она. – Без шкипера мы еще не ходили... Что, Саид правда из Интерпола? – С ее губ срывался парок, пахнущий мятной пастой или освежающей жвачкой.

– Не знаю, так сказал шеф.

– Может, пошутил?

– С такой дыркой в спине не шутят.

Вдруг лицо Макси исказила гримаса и, прижав руки к губам, она коротко всхлипнула:

– Он умрет?

– Не знаю, – сказал я.

– Ты же врач, ты должен знать.

– Я не врач, я массажист, – сказал я.

– Значит, умрет, – простонала она.

– Не факт, – сказал я. – Дай мне поспать. Во сне я что-нибудь придумаю.

– Хорошо, хорошо, – послушно закивала она головой, будто в моих словах был какой-то смысл. Наши глаза на мгновение встретились и обменялись информацией, сути которой мы не могли знать, а только предчувствовать.

Я заснул, как провалился куда-то, впрочем, знаю куда – в спасительное забвение. Мне приснилась Маша. Она сидела, вернее, приседала нагишом на моих чреслах, маленькие груди врасстырку, и коротенькими «ай-ай» поощряла нас к оргазму. Я уже готов был кончить и, видно, проснулся бы от поллюции, но тут открыл глаза и увидел протянутую ко мне руку. Это был шеф. Он стонал.

– Больно, Андрей, – сказал он. – Очень больно. Сделай что-нибудь.

Я вскочил на ноги, как не спал. Мозг заработал сразу на полных оборотах, но язык еще не слушался и первые мои слова, прозвучали, как у пьяного.

– Сейчас сделаю перевязку, шеф. Там пуля осталась. Ее бы скорее вытащить, возможен сепсис...

– Так и вытаскивай!

– Я не могу.

– Почему?

– Нужны инструменты. И вообще это можно сделать только в операционной.

– Какая к черту операционная! – Шеф тяжело дышал, говорить ему было трудно. – Операцию сделаешь ты, сейчас. Если нужно вынуть пулю, ты ее вынешь...

Я предполагал такой вариант, я его просчитал наряду с другими на своей ночной вахте у штурвала. Психологически я был готов, но я никогда не делал никаких операций, не держал толком скальпель в руках. И вообще мое медицинское образование закончилось на третьем курсе, когда я бросил институт, поняв, что массажистом заработаю гораздо больше, чем дипломированным врачом.

– Не знаю, смогу ли? – сказал я, – это не мой профиль...

– Цену себе набиваешь? – вдруг услышал я, и по спине у меня пробежали мурашки. Его слова, однако, никак не соответствовали выражению его лица, где сквозь боль проступало нечто совершенно новое для наших отношений – недоверие и чуть ли не страх.

Меня обожгло стыдом. Разве я давал повод?

– Я заплачу! – сказал шеф. – Хорошо заплачу.

– Ты мне и так хорошо платишь, шеф, – сказал я.

– Нет, – сказал он, доставая портмоне из-под подушки. – Вот ключ от сейфа. Возьми там чековую книжку...

Я открыл сейф, помимо чековой книжки там были толстые пачки долларов. «По десять тысяч каждая», – наметанным взглядом определил я. Пачек было не так уж много. Меньше, чем я ожидал увидеть...

От шефа не ускользнула пауза, которую я сделал, прежде чем перевести взгляд с долларов на чековую книжку.

– К черту чек, – сказал он. – Бери пять пачек, пятьдесят тысяч, – и, видя, что я медлю, сердито повторил: – Бери же, они твои.

Поколебавшись, я нашел в себе силы сказать:

– Я не возьму, шеф!

– Бери больше, сто! Бери, только сделай операцию!

– Я не возьму, – уже решительно повторил я.

– Ты не будешь меня оперировать?

– Буду. Но не за деньги.

Предложенных и невзятых денег было жаль, даже очень, но я чувствовал, что поступаю правильно. А, может быть, я полагал, что эти деньги и так будут моими... Бога бы спросить. Но был ли над нами Бог?

Я демонстративно закрыл сейф и вернул ключ шефу, твердо глядя ему в глаза:

– Мне сейчас нужны не деньги, а хороший скальпель...

Шеф следил за мной, не отрывая глаз, как режиссер в поставленной им пьесе за актером, которому он доверил главную роль, ища сценической неправды, больше – неправды жизни. Ища и, возможно, не находя. Теперь он был благодарен мне, теперь он гордился мною, теперь он был за меня, то есть за себя, спокоен.

Но, черт побери, оставалась и моя сторона, моя роль, мое отношение к его постановке. А она, эта постановка, с каждым часом нравилась мне все меньше и меньше.

Естественно, скальпеля на борту не было, но разных ножей на нашем камбузе – предостаточно; был и универсальный нож из толедской стали с набором всяких придамбасов от ножниц до пинцета, не то перочинный, не то боевой, во всяком случае, такое лезвие до сердца вполне достанет. Подарок шефа мне на день рождения. Но самое главное – в аптечке у нас был новокаин.

Вид раны меня огорчил – она вспухла, даже на ладонь от пулевого отверстия бледная кожа шефа отливала краснотой и болезненно реагировала на прикосновения. Из отверстия сочилась черная сукровица. Я очистил рану спиртом, потом перекисью, сделал новокаиновую блокаду, и ввел вдоль пулевого отверстия зонд, точнее, обработанный огнем и спиртом шомпол от пистолета, из которого стрелял шеф. Пуля не прощупывалась. Я попытался расширить зону поиска – безрезультатно. Скорее всего, пуля ударились о ребро и ушла, застряв где-то в мягких тканях – показать ее теперь мог только рентген. Но даже если бы мне удалось нащупать пулю – как бы я ее вытащил? Для этого применяют специальный пинцет, который имеет захват в форме пули, а так... Я был знаком с азами военно-полевой хирургии и понимал, что при таких инструментах больше здесь ничем не поможешь. Оставалось лишь немного – спирт, тампон, тугая повязка...

Шеф стойко перенес неудачную операцию, впрочем, боль к нему вернулась лишь после того, как кончилось действие новокаина. Он понял и без моих объяснений, что пулю я не нашел, и молчал. В его молчании не было осуждения. Он просто молчал, обдумывая ситуацию.

– Нужно в клинику, – виновато сказал я. – И как можно скорей. Желательно сегодня же оказаться на берегу. Иначе возможны осложнения.

– Да, похоже, осложнений не миновать, – спокойно сказал шеф. – Поскольку нам светит только тюремная клиника. Мне, то есть, не тебе.

– Ну почему, шеф? – возразил я, все еще оглушенный своей неудачей.

Шеф чуть повернул голову в мою сторону – повернуть больше мешала боль – и сказал, глядя в иллюминатор:

– Что, тупильник включаем? Меня, блин, Интерпол ведет. Я в агента попал... тебе мало?

– Может, ничего страшного, шеф? – Я встал перед ним, чтобы ему не нужно было крутить головой.

– Какая разница. Первый раз стрелял в человека... и попал. Форменный абсурд. Я не знал, что это агенты. Они же в штатском. Я думал – обыкновенный рэкет. Один из них что-то крикнул и наставил на меня ствол. А у меня рука была в кармане – я за сигаретами полез. А там пистолет на взводе. Думал, мало ли что... Я из кармана и выстрелил. Само собой получилось. Оба упали на пол, а я побежал. Потом один вскочил и за мной. Уже на пирсе меня зацепил... Потом уже я сообразил, что они из Интерпола – они мне кричали, да я не врубился со страху.

– А Саид?

– Саид их и вызвал. Только его не было – отсиживался где-нибудь за углом... Турок, блин...

– Он все время улыбался, я думал, он – просветленный.

– Он улыбался, потому что такая работа. Он должен вызывать симпатию и доверие. Профи, блин... Обвел нас вокруг пальца, как каких-то навозных дрозифил.

Я хохотнул, будто шеф сказал что-то смешное. На самом деле я искал его прощения.

– Дрозифилы – это плодовые мушки, шеф, очень маленькие.

– Вот именно, очень маленькие...

Я понял, куда клонит шеф – ведь Саида вместе с его яхтой нанимал я. Но как я мог знать?

– Но почему Интерпол, шеф? Кому мы насолили? – Я специально говорил «мы», хотя понимал, что я тут сбоку припека.

– Кому-кому... Почем я знаю. Могу только догадываться.

Чувствуя, что шеф разоткровенничался, я осмелел:

– Ты не звонил первому? – Первым у нас был наш человек в правительстве, заместитель министра.

– Вчера звонил. Секретарша говорит, что болен. А я думаю, что снят. Видимо, оттуда дует. Прокуратура им занимается.

– Это он нам деньги переводил?

Шеф внимательно глянул на меня, словно прикидывая, не взять ли меня в долю, и сказал:

– Живи спокойно, Андрюша...

Я извинился за свою назойливость. На самом деле мне было все равно – что там, наверху. Я просто заговаривал ему зубы, я просто проверял, насколько прочно мое положение, в свете, так сказать, случившегося...

– Да, спокойствие превыше всего... – продолжал шеф, снова глядя в иллюминатор. – Если бы только нас оставили в покое. Ночью не нашли, но сейчас у них больше шансов. Еще вертолет пришлют...

– Брось, шеф, – сказал я, – кто мы такие, что бы так уж...

– Вот и мне бы хотелось их в этом убедить. Но это же Европа, Запад, это же не Россия. Там с любым можно договориться, даже с президентом... А тут закон, тут живут по закону. Тут людей-то нет – одни законопослушные зомби.

Помнится, в России шеф разглагольствовал с точностью до наоборот, но, как ни смешно, и то и другое было, пожалуй, верно. Поэтому я молчал.

– Тут, куда бы мы теперь ни плыли, – продолжал шеф, – нас везде ждет Интерпол. И самое лучшее... – он сделал паузу, – самое лучшее вам с Макси меня убить, разделить поровну содержимое сейфа... Вас не тронут, скажете, что шеф остался на берегу...

Говоря всю эту чушь, шеф, на которого находили иногда приступы мазохизма, испытующе смотрел на меня – опять проверял на вшивость. Похоже, ему было действительно плохо.

Я выдержал его взгляд:

– А если связаться с каким-нибудь кораблем, сказать, что тяжелобольной на борту. Или дать SOS.

– Как это сделать, Андрей? Саид нас оставил без связи.

– А ноутбук?

– Им теперь только гвозди забивать.

– Что случилось?

– Винчестер посыпался. Только вчера обнаружил – хотел проверить наши банковские счета.

– Опять Саид?

– Не сомневаюсь...

Да, все так и оказалось. Шеф не преувеличивал. В самом сердце цивилизованного мира, опутанного сетями коммуникаций, мы не могли даже пискнуть о своем бедственном положении.

– Я перебрал все варианты, Андрей. – Когда в разговоре со мной шеф становился серьезен, он то и дело вставлял мое имя. – Перебрал и не нашел ни одного, заслуживающего внимания. Наше дело – труба. Вернее – мое. А вы... Вряд ли вам с Макси светит казенный дом.

Шеф, на самом деле его звали Аркадий, точнее Аркадий Борисович, был всего на пять лет меня старше, но пиетет к нему я питал больший, чем, скажем, мог бы питать к старшему брату. Скорее, я относился к шефу, как к отцу. Мне никогда не приходило в голову его послушаться. Хотя бы уже потому, что мне нравилось ему подчиняться. Он не давил авторитетом, он – это было очевидно – уважал меня, только через годы после того, как я стал служить у него, я узнал, что он полукровка – мать его была еврейкой. Это выяснилось случайно, когда мне пришлось за двоих заполнять анкеты для поездки за границу. Потом он во время перелета по маршруту – Петербург – Рим рассказал мне свою историю.

Дед его был расстрелян и свален в общую яму где-то возле Могилева, а бабка погибла в Освенциме, с ней – две ее старшие дочери. Младшая, двухлетняя Фрида, осталась жива – во время

облавы ее спрятали у себя соседи-белорусы. После войны ее отдали в детский дом, где она и выросла, а в восемнадцать лет вышла замуж за сорокалетнего вдовца, у которого было трое своих детей. Семья переехала в Великий Новгород, там шеф и родился, русский по отцу, еврей по матери. На свет он появился семимесячным, менее двух килограммов весу, и по приговору врачей был не жилец. Однако выжил, хотя все детство отчаянно болел. Отец его умер, когда мальчику было двенадцать лет – с того дня он стал самостоятельным человеком, закончил техникум, затем Политехнический институт, работал инженером на заводе, производящем монохромные телевизоры, и сколотил там свой первоначальный капитал на продаже неучтенной продукции по ценам, что были гораздо ниже государственных. Дело это кончилось бы для него плохо, но тут грянула перестройка, и такие, как он, ловкие да умелые, пошли в первых ее рядах.

У него завелись друзья в правительстве и Думе, новгородские земляки во власти, включая одного, в ранге замминистра, сокурсника по Политехническому институту, которые направляли государственный капитал в нужном направлении под нужные проценты и откаты. Приватизация шла с российским размахом. Новая власть раздавала государственную собственность за смехотворные цены родственникам, друзьям и знакомым, далее – друзьям же и приятелям этих знакомых, далее – приятелям тех приятелей и друзей... Нигде никогда в истории человечества, в политической истории стран и народов – нигде и никогда еще не было такой приватизации. А народ, этот *homo soveticus*, зомби до мозга костей, хлопал ушами или шел за новую власть на баррикады у Белого дома. Помню, мне выдали один ваучер, два я купил на улице и чувствовал себя начинающим предпринимателем. Ваучер оказался билетом в нищету. Впрочем, я тогда мало что в этом смыслил – просветил меня мой шеф, раскрывший передо мной тайные механизмы обогащения по ново-русски. Никто из российских олигархов не заработал ни цента, ни гроша своими руками, талантом или головой. Зачем? – они были на известных условиях просто назначены в миллионеры новой властью, чтобы стать ее дойными коровами. Бодливым же она потом начнет просто отпиливать рога, иногда вместе с головой.

Сколько людей теперь работало на шефа? Счет шел уже на сотни. Остановить рост империи его было уже невозможно, она сама продолжала шириться, поглощая все новые и новые территории. Предложения сыпались со всех сторон – теперь уже от муниципальных властей, которым тоже хотелось красивой жизни. Все было куплено, все шло в рост – местный думец, милиционер, таможенник, растаможивающий игровые столы и автоматы, пожарник, инспектирующий помещения на предмет пожарной безопасности, управление госимуществом, главный архитектор и отдел городской рекламы при нем же, санэпиднадзор, и еще пятьдесят с гаком других государственных служб – от налоговой до ветеринарной. Считалось, что раз у тебя много денег, то ты должен ими поделиться, просто так, просто за то, чтобы тебе дали жить.

Но это не все, чем занимался мой находчивый шеф, – это было время тотального банкротства государственных предприятий, и шеф был среди тех умельцев, кто прибирал их к рукам. Даже мне однажды пришлось побыть директором заводика, который обанкрочивали. Он был куплен шефом за смехотворную сумму – три тысячи долларов, а через год продан за полмиллиона...

Что привлекало в нем, при общей стертости и неопределенности черт, – так это глаза, точнее просто взгляд этих маленьких, рыжих глаз, с белыми, как у поросенка, ресницами. Взгляд был умный, твердый и одновременно притягивающий, и когда шеф обращался к тебе, казалось, что тебя выделяют из числа других, что ты приятен, что тебя понимают и готовы сделать для тебя добро. Это был определенно лицедейский дар – располагать к себе людей, особенно деловых партнеров. И мне всегда представлялось, что в бизнесе шеф играет по правилам, и потому нам нечего опасаться – у нас нет и не может быть врагов. Все складывалось как нельзя лучше у нашей троицы, и, видимо, из-за этого все мы втроем потеряли бдительность. Новая реальность накатывала стремительно, как цунами, и грозила все смести.

– Не понимаю, зачем Саид попортил нам связь – теперь они не могут нас запеленговать.

– Могут – не могут, нам это неизвестно. А если он куда-нибудь сунул радиомаячок?

– Тогда бы нас уже нашли, – сказал я.

– Или найдут, – сказал шеф, посмотрев на часы. – Эдак через часок...

– Через три, – сказал я, давая понять, что не зря ночью бдел у штурвала...

Тут в динамике внутренней связи щелкнуло, и взволнованный голос Макси произнес:

– Вижу яхту!

4

Я не люблю свое детство. Иногда мне кажется, что его и не было. Может, потому, что я всегда хотел быть старше. Старшие – они были сильнее меня, и они никогда и ни на что не спрашивали у меня разрешения, они просто подходили и отнимали – мяч, самодельный лук со стрелами, пистолет на пружине, самозаводящийся, точнее инерционный, автомобильчик, – все, что им нравилось. Сопротивляться было бесполезно, и хотя каждый раз я сражался за то, что мне дорого, что мне было бесконечно жаль утрачивать, я всегда проигрывал. Старшие знали, что у меня нет отца, потому я изначально был слабаком, а с матерями в нашей среде не принято было считаться. Да я и боялся сказать матери, что у меня опять что-то отобрали, – с первых моих детских драк она мне запретила жаловаться и велела давать сдачи. Пожалуйся я ей, и был бы бит еще раз – при небольшом росте и весе у нее была хлесткая рука. Силой я сравнился с матерью только в лет четырнадцать, когда однажды перехватил ее руку, занесенную надо мной для привычной затрещины... Мать автоматически занесла вторую, но столь же безуспешно, и тогда она, бессильно дернувшись, вдруг с изумлением посмотрела на меня и сказала: «Вот ты и вырос, сынок. Отпусти меня». Я отпустил, и в следующий момент в ухе у меня зазвенело от оглушительной пощечины.

– Только попробуй еще раз поднять на мать руку! – услышал я ее свистящий шепот, и хотя глаза ее побелели от гнева, губы змеились, но оба мы, она и я, поняли, что матриархату в нашей маленькой семье приходит конец, и теперь мы будем жить по другим правилам. Так оно и получилось – больше она меня не трогала и не пыталась силой решать наши проблемы.

А проблемы, естественно, были, и одна из них – ее мужчины. Не скажу, что их было много – нет. Если считать с моего уже сознательного малолетства, то передо мной прошло человек пять, не больше, то есть один в три года, и хотя почти каждый из них на раннем этапе своего времяпрепровождения с матерью становился моим притворным другом и дарителем всякой всячины, ни одного из них я никогда не считал кандидатом в отцы, а точнее в отчимы. Я прекрасно знал и помнил, что отца у меня нет, его как бы не было вообще в природе, я как бы родился от непорочного зачатия, как Иисус, с тем только отличием, что никакой особой миссии на земле у меня не было. Да, мой настоящий отец – он был для меня нематериален, вроде как Бог.

– Где папа?

– Его нет.

– А где он?

– Я сказала – нет его.

– Он что, умер?

– Да.

– Он умер, когда я был совсем маленьким?

– Да, когда ты еще не родился.

– А почему умер?

– Почему-почему... Почему люди умирают?

– Заболел?

– Да, заболел и умер. Поэтому ты кушай, что тебе дают. Надо все есть, чтобы быть здоровым.

– А папа плохо ел?

– Плохо.

– А почему ты не говорила ему, чтобы он ел хорошо?

– Он не слушался. Все, Андрюша, ты мне надоел со своими вопросами. Мой ноги, чисть зубы и иди спать.

И я старательно выполнял все процедуры приготовления ко сну – мне было жалко умершего папу, и я не хотел умереть, как он, а для этого нужно было хорошо есть и делать еще кучу всяких необходимых вещей. Поэтому когда у нас появлялся мужчина, я твердо знал, что это не папа, не может быть папа. Папа был для меня, как бог, который жил на облаках. Такого бога я видел на картине в альбоме, который подарил маме дядя Володя. Он был настоящим художником, даже учился в Ленинграде. Он рисовал красками и меня, и маму, и цветы на окне, и еще огромные плакаты на стенах комбината, в котором работала мама. У всех передовых работниц на его плакатах было мамино лицо.

Мамины мужчины относились ко мне по-разному: одни дарили мне подарки, другие меня вовсе не замечали, третьи... собственно, из третьих был один только художник дядя Володя – дружили со мной. Дядя Володя никогда не приходил с пустыми руками – это он помогал мне делать пистолеты и автоматы, луки и кинжалы, хотя они редко задерживались у меня – не дольше выхода во двор на прогулку. Да, дядя Володя был, пожалуй, самым интересным из маминых ухажеров – ухажерами их называла мамина подруга по соседнему бараку-общаге, к которой мама в конце недели, обычно с пятницы на субботу, отводила меня на ночь. Я ненавидел дни, когда меня препоручали соседке, – это значило, что у мамы опять кто-то будет, и что она вспомнит обо мне только на следующий день. И я волновался, что она меня может вообще забыть у соседей, и выдумывал всякие хитрости, чтобы остаться дома.

Самое верное – это было заболеть. Тогда мама менялась в лице, и что-то с ней происходило, – она вдруг становилась нежной, ласковой и внимательной, предупреждала каждое мое движение, говорила тихим голосом и называла «сынуля» или «мой мальчик»... словно исполняла какой-то долг, о котором забывала, когда я был здоров, когда все было нормально. Я так никогда и не узнал, любила ли она меня или только терпела. Я понимаю, любить меня было непросто, ненавидя моего отца-насильника, единого в трех лицах. И короткие приступы лихорадочной заботы обо мне сменялись у нее долгими паузами отчуждения.

Подлинную историю моего явления на свет я узнал от нее незадолго до того, как меня забрали в армию, и, скорее всего – в связи с этим. Она словно предчувствовала, что больше меня не увидит. Последний год, что мы провели вместе, она часто болела и кашляла, кашляла...

Рассказ ее, точнее – чистосердечное признание – не сблизил нас, а скорее развел. Мой бог переселился с облаков на землю, и даже ниже, под воду, но он был жив! Мой отец – подводник, и он где-то жил! Как я мог его ненавидеть? Не знаю, зачем она мне все это рассказала. Может, она рассчитывала, что я найду отца и отомщу за нее? Или чтобы сделать мне больно, чтобы передать мне часть своей боли, своей оскорбленности, чтобы опутать меня своей злополучной кармой? Она и слова-то такого не знала. Она вообще с книгами не дружила, хотя и обладала цепким практическим умом, и считала, что видит людей насквозь. Неоконченная средняя школа да курсы бухгалтеров – вот и все ее университеты... Она работала в бухгалтерии комбината, где их, бухгалтеров, было человек двадцать, и частенько я, если по какой-то причине пропускал детский сад или – потом – школу, околачивался в этом душном помещении, пропахшем женщинами.

Однажды под Новый год мама, как обычно, отвела меня на ночь к тете Лизе, у которой не было ни детей, ни мужа, потому что она была инвалидом. Про тетю Лизу я знал, что она наполовину армянка, наполовину русская, что ее семью в эти хмурые края занесло в пору сталинских чисток тридцатых годов, что как-то раз, когда она с подругами шла из школы, один из мальчишек, обычно увязывавшихся следом, вырвал у нее из рук школьную сумку и бросил на

шпалы узкоколейки, – таким образом выражая свое внимание. Сумку она успела подхватить, но надвинувшийся паровоз-кукушка зацепил Лизу низко опущенной решеткой снегоочистителя... Переломанные кости ног срослись, но левая нога перестала сгибаться... Потом Лиза научилась обходиться и без костылей, но внимание ей больше никто из мальчишек, а потом и мужчин, не оказывал. Тетя Лиза была веселой и доброй, и не раз я слышал, как она то ли в шутку, то ли всерьез говорила моей маме: «отдай мне своего мальчонку, ты себе еще родишь». Тетя Лиза работала в той же бухгалтерии, что и мама, была в курсе всех маминых проблем и постоянно по части мужчин давала маме советы, которым мама никогда не следовала. Мама у меня была красивой, маленькой и ладной женщиной, отчасти похожей на мою первую жену Машу, разве что потоньше станом. И вот однажды под Новый год, когда мама отвела меня к тете Лизе, оказалось, что я не единственный ее гость. У тети Лизы гостила девочка. Она была старше меня, ей было лет двенадцать, тогда как мне всего семь – в том году я пошел в школу. «Первый класс купил колбас, второй жарил, третий ел, четвертый в щелочку смотрел, пятый с лестницы летел...» Что делал при этом шестой класс, в котором училась дальняя тети Лизина родственница, школьное словотворчество умолчало... Девочка эта ехала на зимние каникулы из Мурманска в Петрозаводск, и на пару дней остановилась здесь. Девочку звали необычно – Сильвия. В углу уже стояла, сверкая и топорщась, новогодняя, дивно пахнущая елка. Мы выпили чаю с привезенным печеньем, чинно сидя за столом, причем я страшно стеснялся Сильвии, а потом тетя Лиза положила нас спать. Я обычно спал на раскладном диване, который на сей был раздвинут и стал двуспальным. Нас уложили валиком, и от непривычного соседства я долго не мог заснуть. За окном была метель, и в свете уличного фонаря там пролетали роем снежные хлопья. Они все время меняли направление – то вниз, то вбок, а то и вверх, будто кто-то встряхивал снежное одеяло. От снега и фонаря в комнате было светло, в углу таинственно мерцала украшениями елка, а в другом углу на большой железной кровати, спинку которой украшали никелированные шары, тихонько посапывала тетя Лиза. Никелированные шары были вроде бессменных елочных украшений, содержащих в себе четыре пузатых комнаты с плавающими в них обитателями. Однако заглянуть туда было трудновато, так как на первое место неизменно выступал нос любопытствующего, заслоняя собой все остальное.

Похоже, Сильвия тоже не спала, потому что все время вертелась и вздыхала, словно ее не устраивало мое соседство или ей было жарко. Пару раз она ненароком пнула меня и, свернувшись калачиком, я замер на самом краю отведенной мне площади. Мне было не по себе лежать рядом с девчонкой, пусть и ноги к ногам, – я уже хорошо понимал, что девчонки совсем не такие, как мальчишки, и все у них совсем не так – это мы еще в детском саду выяснили, и, может, от этого а, возможно, и еще от чего-то я слышал в себе тревожный и одновременно возвышенный звон, словно соседка моя была не совсем девчонкой, и даже не девочкой, а в каком-то смысле волшебницей, феей, маленькой феей, исполняющей желания. Я, правда, не знал, какие желания она должна исполнить, но по стеснению в груди и какому-то неясному томлению, зреющему ниже пупка, холодку, веющему там, будто качаешься на качелях, я понимал, что все происходящее со мной – оно необыкновенно, в нем есть какая-то тайна, отчасти похожая на ту, что скрывала мама, отводившая меня на ночь к тете Лизе; я видел, как мама готовится к этой тайне, надевая свое лучшее платье, завивая волосы и подкрашивая тушью брови и ресницы.

Потом я заснул и увидел сон. Во сне ко мне подошел незнакомый мальчишка моих лет и сказал: «Давай померяемся писканками, у кого больше». Он достал свой крантик, а я свой. Но мы не знали, как их померить, потому что внешне они были одинаковыми. Я уже хотел было согласиться на ничью, как вдруг мальчишка громко засмеялся, показывая на мое маленькое хозяйство: «Ой, какой уродец! Ха-ха-ха!» Я глянул вниз и обмер – вместо крантика внизу у меня копошился какой-то мохнатый зверек, острыми зубками он щекотал мне пах, будто собираясь вгрызться в него.

От ужаса я вскрикнул и проснулся. Мне хотелось писать. В комнате на этот случай было специальное ведерко с фанерной крышкой, но я постеснялся его использовать, чтобы не разоблачить себя слишком уж громкой струей. Система этих двухэтажных домов-бараков, отчасти напоминавших мне общагу, в которой я потом буду жить со своей женой Машей, имела две уборных на этаже в каждом конце сквозного коридора. Ближняя уборная была то ли занята, то ли напрочь закрыта, и я пошел вдоль спящих дверей в дальний конец коридора. Было холодно, желтая лампочка едва давала свет, в обоих концах за торцовыми окнами бушевала ночная выюга.

Каким-то непостижимым образом она была связана с моим сном, была как бы его продолжением, будто все это мятущееся и мятежное воинство снега и было смехом того незнакомого мальчишки, еще стоявшим в моих ушах, – выюга смеялась надо мной, уличая меня в постыдном зуде под животом, в зуде, который на самом деле был каким-то неведомым зверьком, – и во мне еще не избыло извлеченное из сна ощущение ужаса, когда я спрашивал себя, как же теперь мне жить с этим зверьком, как утаить мой позор? И вот теперь выюга за окнами о нем знала и заходила от смеха, даже подвывала в изнеможении, и угодливые слуги, снежные хлопья, по ее мановению дробно прилеплялись к стеклу, дабы снова и снова взглянуть на меня, черпая из моего уродства порции смешного.

Это навязчивое болезненное видение из сна пропало лишь, когда я пописал, и теперь оставалось во мне скрадывающимся осадком боли. В комнате тети Лизы было тихо, из угла раздавалось мирное посапывание хозяйки, спала и девочка – и то, что она спала и ничего не знала о привидевшемся мне конфузе, сделало ее вдруг родной и близкой, словно она была негласным подтверждением моего истинного начала, чистого, здорового и непорочного.

С благодарностью к ней, не смеявшейся надо мной, я лег, поджал коленки к подбородку и попытался заснуть. Но сон не шел. И вдруг я понял, почему не могу заснуть, – я боялся продолжения того сна. Я смотрел на окно, к которому с порывом ветра прилеплялись сразу десятки снежных хлопьев, словно это злые духи или неведомые и чужие жизни барабанили мне в стекло. Полежав без сна и чувствуя под сердцем тяжесть, пустоту и желание заплакать от бремени одиночества, я перевернулся головой в другую сторону и переполз к спящей девочке. Теперь она совсем не шевелилась и дышала так неслышно, словно ее души тут не было. Но тело ее было – оно пахло сладко и волнующе. Я лег рядом с ней, за ее спиной, и втягивал ноздрями пряный ванильный запах, погрузив лицо в курчавящийся шелк ее пышных волос. Вечером перед сном, я, хотя и делал вид, что не гляжу на эту девочку, на самом деле успел хорошенько ее рассмотреть, – она была смуглой, с большими глазами, густыми выгнутыми ресницами, и густыми же черными бровями, а под ее розовой шерстяной кофтой явно обозначались пупырышки грудок. Говорила она с едва уловимым акцентом, в котором, как и в этом сдобном запахе от нее, было для меня что-то новое и сказочное, выходящее за пределы моего прежнего опыта.

И вот я лежал рядом с этой девочкой и обнюхивал ее – особенно дивно пахло у нее под загривком, где голый нежный ствол шеи окружала поросль вьющихся завитков, щекочущих мне щеки и лоб, а еще животом и бедрами я ощущал плотную и упругую выпуклость ее попки – на девочке была длинная ночная рубашка, очень тонкая, трикотажная, прикрывавшая ее до пяток, но под ней явно ничего не было, ни лифчика, ни трусиков, и то, что Сильвия под рубашкой совсем голая, я ощущал не только животом и бедрами, но и тем местом, которое во сне превратилось в зверька, а на самом деле было похоже на маленький подберезовик-недоросток с еще не отделившимися от ножки краями бледно-лиловой шляпки.

Округлая и тугая естественность попки Сильвии была совершенной и манящей. Я сам не знал, почему, но близость этой девочки вдруг избавила меня от стыда, унижения и всех страхов, – я обнял ее правой рукой, что была свободна от тяжести моего собственного тела, и еще сильнее прижался к попке, в невинном раздвоении которой как раз укладывалось мое собственное невинное естество. Когда я обнял ее, моя ладонь оказалась у девочки на груди, и поскольку Сильвия спала, то я решил продеть руку в вырез ночной рубашки. Там были две маленькие припухлости с почечками сосков, или даже не почечками, потому что наощупь они не походили ни на что, к чему я до того прикасался в своей жизни, и мне не с чем было сравнить ощущение, вызываемое ими в кончиках моих пальцев, разве что с истомой высоты, когда подушечки пальцев вдруг пробивает влага волнения... Да, я трогал эти грудки, и в голове у меня стоял звон, и еще – там, внизу живота, где вместо копошащегося зверька теперь всходило, распуская во все стороны лучики-щупальца маленькое золотое солнце. Оно было горячим, оно грело, согревало, и его золотые лучи, протянувшиеся далеко во все стороны, пронизывали уже и мою голову, отчего мысли мои стали легкими и радостными, какими-то полетными... Возможно, грудки ее были похожи на маленьких тепленьких пушистых цыплят с клювиками, – их нам давали потрогать в детском саду, где у нас было свое подсобное куриное хозяйство. Только в отличие от тех, вечно норовящих клонуть и удрать, эти никуда не убегали, а сидели тихо и послушно там, где их застала моя рука.

Так я лежал рядом со спящей Сильвией, нюхая ее шею под гущей волос, поводя губами по щекочущимся завиткам этого шелковистого испода, и все вместе – запах кожи и волос, нежная припухлость грудок и две выпуклые доли попки, которая не отстранялась от меня и спокойно принимала в своем сне касания моего естества, впрочем, тоже невинно спящего, – все это было пределом моей мечты о любви и общении, выходом из одиночества моего внутреннего существования вовне, где для этого, оказывается, требовался другой человек. Теперь я был и в себе и одновременно в этом другом человеке, в девочке по имени Сильвия, и был счастлив, как может быть, никогда прежде. В какой-то момент мне даже показалось, что Сильвия уже не спит, что она проснулась и, замерев, слушает мои прикосновения, не испытывая никаких иных чувств, кроме тех, что испытываю я...

Но утром, как это ни странно, я проснулся не рядом с ней, а на своей собственной стороне, да и девочки не было – ни ее, ни тети Лизы, а в дверях стояла мама, изображая улыбкой естественность происходящего:

– Вставай, соня! Домой пора.

С предчувствием невосполнимой потери я приподнялся на локтях:

– А где... – и осекся, не зная, как спросить, чтобы не выдать себя.

– Уехала твоя невеста, – сказала мама. – В Петрозаводск.

Больше я девочку по имени Сильвия никогда не видел, хотя еще долго мечтал о ней.

Да, те пять маминых мужчин, которые запали мне в память, были разные и по-разному относились ко мне. Но было у всех у них и нечто общее – они пили. Они пили горькую, как все нормальные мужчины города Кировска. То ли места к этому располагали – девять месяцев зима, остальное лето, то ли что еще. Места были прекрасные, хоть и суровые, – край России, извечное место ссылок и принудительных поселений. Оттого и народ тут оседал непростой – без корней, разношерстный и колючий. Апатиты, Кемь... – названия эти переосмысливались не иначе как – «А-поди-ты-к-ебене-матери...», что, естественно, имело под собой историческую почву и оправдывало феномен почти поголовного питья мужской части населения. За каждого из этих пяти мужчин, прошедших через нашу жизнь, мама в свое время готовилась выйти замуж – жить вдвоем на бухгалтерскую зарплату было непросто, но каждый раз рано или поздно обнаруживалось, что все они горькие пьяницы и, значит, по большому счету конченные люди, и если что поначалу и несли в наш дом, то потом уносили гораздо больше. Но мама нравилась мужчинам, и потому история повторялась. Положение матери-одиночки не очень-то подвигало ее к разборчивости и притягивало одних неудачников, таких же, как она сама. Но в общем-то это были незлобивые и мягкотелые пропойцы, с которыми мать, обладая если не сильным, то жестким характером, умела справляться. Кроме дяди Коли, который был значимей прочих, к тому же если и пил, то в меру. И, похоже, его единственной мамой и любила. С ним, говорила она, как за каменной стеной, и я понимал это в том смысле, что скоро мы переедем в отдельный каменный дом с высоким каменным забором, у нас будет много денег и мне купят взрослый велосипед. Дядя Коля, вроде, тоже любил маму, во всяком случае намеренья у него были самые серьезные, о чем я знал из тети Лизиних с мамой разговоров, которые мне удавалось подслушать в вечерние часы, когда они шептались, думая, что я уже сплю.

Когда он у нас появился, мне было тринадцать, и я уже хорошо знал, что он и мама делают, когда остаются на ночь без меня, и ревновал ее. Может, даже не столько ревновал, сколько боялся, что в этом треугольнике она выберет не меня. Я всегда боялся потерять ее, потому что с детства слышал ужасавшее меня: «Будешь плохо себя вести (есть, учиться и так далее) отдам тебя в интернат». Что такое интернат, мне было известно – наш двор воевал с интернатовскими; мальчишки там все были острижены наголо и походили на юных бандитов. Все они курили и девчонки их, по слухам давали уже с двенадцати лет за сигарету или вовсе бесплатно.

И вот дядя Коля стал появляться в нашей комнатухе. Он работал бригадиром на лесопилке, и хорошо зарабатывал – это мы с мамой довольно скоро ощутили, так как на нашем столе появились непробованные мной прежде продукты вроде твердокопченной колбасы, ветчины, шпрот

и коробок шоколадных конфет. Дядя Коля тоже был не здешний, а «с югов», приехал сюда за длинным рублем да так и остался. Не знаю, где мама с ним познакомилась, только вот по субботам или даже с пятницы у нас в комнате стал появляться терпкий запах нового гостя, задевавшего плечами навесные полки из древесно-стружечной плитки и цеплявшего огромными своими ножищами прочую нашу хлипкую мебель.

Он приходил ближе к вечеру и уходил около полуночи, и частенько мама, пристально посмотрев на меня, словно вычисляя мою затаенную оценку происходящего, просила меня пойти погулять на часок... А то для меня уже был куплен билет в кино или мне предлагалось сбегать в гости к своему новому приятелю Вовке, с которым я сошелся недавно. И я уходил. Если билета в кино не было и идти было не к кому, я бродил по улицам Кировска, подолгу задерживаясь в магазинах с промышленными товарами, особенно со спортивным инвентарем, – эти велосипеды, мячи, коньки, лыжи, боксерские перчатки, шлемы, клюшки, ракетки были любимыми экспонатами в музее моей спортивной мечты и я мысленно обладал всем этим, все опробовал, на всем катался... То меня восхищала боксерская груша, на которой можно было отрабатывать удары, то полуспортивный велосипед «Турист» с регулятором переключения скоростей и несколькими шестеренками на одной втулке, от наличия которых захватывало дух, то меня приводило в восторг пневматическое ружье для подводной охоты, то пневматический спортивный пистолет, стреляющий свинцовыми пулями... А эти ласты, маски, дыхательные трубки, телескопические спиннинги с ловлей на блесну... Все это я любил и пропускал через себя остро и сильно, видимо, уже тогда понимая, предчувствуя, что в некоем будущем, непременно счастливом, я действительно попаду в мир шведских стенок, тренажеров, штанг и гантелей, эспандеров и черных дерматиновых матов, предохраняющих противника от травматичного падения после блестяще проведенного мною приема.

Но, кроме шатания по магазинам были и просто прогулки – в трескучий мороз, когда казалось, от земли восходит или отходит пар ее души, схваченной железными тисками холода, а кусты превращались в белые кораллы, или летом, когда и в полночь дальние силуэты Хибин были позолочены солнечным светом, и небосвод, простершийся над головой, со всеми своими застывшими на невероятной высоте облачками, каждое перышко которых было понизу обведено золотой или розовой или фиолетовой каймой... небосвод этот сам по себе казался художником, демонстрировавшим мне образцы бессмертной летучей красоты, не стоящей ему никаких усилий, как, наверное, и должно быть у того, кто там, наверху, надо мной, и что людям в их попытке подражать, повторять, копировать дается только иногда и только нечеловеческими усилиями, кровью и потом, но чаще не дается совсем. Потому что между человеческим и божественным есть непознанная область запретного – мало кто в нее входил, но, войдя, непременно платил за это непомерную цену.

Да, примерно так выглядел тогда мой мир, хотя, конечно, у меня не было слов для его описания, какие появились потом, но было что-то гораздо большее, чем теперь, когда я умею распутывать пряжу своей никчемной жизни, переводя ее в слова. Гораздо большее, потому что я еще не знал серьезных поражений и, значит, был равен тому, что мог воспринять.

Дядя Коля мне совсем не нравился – при нем меня все чаще стали выдворять из дома, и обида вместе с ревностью накапливались во мне, потому что после встречи с ним мама выглядела усталой, раздраженной, и по глазам ее было видно, что она плакала. Я еще долго не знал, что многие женщины, пережив близость с мужчиной, плачут, и что эти слезы бывают отрадны, что часто это слезы благодарности, – они следуют за оргазмом, освобождающим тело и душу, и сами по себе тоже являются оргазмом, выявляя светлый, легкий, не отягощенный житейскими неурядицами взгляд на мир. И я не подозревал, что раздражение ее может быть вызвано вовсе не дядей Колей, а мной, ее вечной обузой, не дающей ей жить так, как она бы того хотела. Я знаю, я это слышал от нее не раз и видел, что ее тяготит родительская ноша, и она мечтает о времени, когда я стану взрослым, совершеннолетним и уйду от нее, чтобы жить самостоятельно, предоставив ей ту свободу, о которой она всегда мечтала. Теперь я знаю, что матери обычно трудно расстаться со своими сыновьями, но мой случай был другим. Она была не из тех матерей, для которых сын в отсутствие мужа или даже при нем становится главной любовью и смыслом жизни. Внутри она оставалась одинокой и независимой от чувств ко мне. Она меня никогда не ласкала, не целовала, она не любила, когда я к ней прикасался: ее «не трогай меня!» – один из

лейтмотивов моего детства. И я привык не прикасаться к ней – и поцелуй она меня, наверное, я бы это воспринял, как удар током.

Возможно, у нее и теперь, будь она жива, был бы тот самый дядя Коля, если бы не один случай, все изменивший. В тот вечер мама оставила меня одного, сказав, что идет в кино на последний сеанс. Я, в общем, и не ждал ее, лег спать, и мне даже что-то приснилось, прежде чем я проснулся от стука открываемой двери. Ходики, тикавшие на стене, показывали половину первого ночи. Дело было зимой, на дворе мела метель, как тогда, в ту предновогоднюю ночь, за окнами комнаты тети Лизы, где я лежал рядом с девочкой, только теперь я был на шесть лет старше и уже хорошо знал, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они лежат вместе; хотя надо отдать маме должное, – она заботилась о том, чтобы меня не касались ее интимные отношения с мужчинами.

Мама вернулась не одна – я слышал еще одни шаги и по их тяжести мог легко определить, что это дядя Коля, – вскоре до меня донесся запах табака и пота, пропитавший его одежду, и еще – запах спиртного. Видимо, он где-то успел выпить и ему не хотелось прощаться, тем более что на дворе крутила метель, а я скорее всего уже спал, – и вот они решили продолжить свидание, может быть, до утра, в шесть ему все равно надо было идти на работу, и я ничего не увижу и не услышу.

Я почему-то испугался. Я понимал, что чем меньше меня будет в этой комнате, тем лучше и безопасней для меня самого. Я принял отведенную мне роль и затаился, как мышь. Я даже постарался как можно скорее снова уснуть, но чем больше я старался, тем возбужденней работал мой мозг, словно в ожидании какого-то события, загипнотизировавшего меня своей неотвратимостью. Я слышал, как мама на цыпочках по деревянным половицам прошла на мою половину – я спал на раскладушке за платяным шкафом, разделяющим комнату надвое – и наклонилась ко мне, стараясь разглядеть в полутьме мое лицо. На меня дохнуло спиртным, что было странно – мама не любила алкоголь, от него у нее сразу начинала болеть голова. Если бы в тот момент я открыл глаза и что-нибудь сказал ей, возможно, дальнейшего бы не было, но я наоборот, изобразил самый глубокий сон, и не только из-за непонятного страха, – нет, вопреки всему я ждал того, что будут делать дальше эти взрослые, – болезненное, скорее даже больное любопытство, охватило меня. Я замер, и мама так и не заметила, что я просто лежу, затаив дыхание. «Спит», – услышал я ее удаляющийся шепот – услышал с облегчением и одновременно с горьким сожалением.

Они пили еще, скорее всего водку, а потом легли. Мамин полутораспальный диван стоял справа от двери, вдоль стены, торцом к шкафу, за которым начиналась моя территория... У нас было два окна, одно на моей, другое – на маминой стороне. Зимней ночью в нашей комнате, если не закрывать занавески, было светло от соседства с уличным фонарем, почти как у тети Лизы, а летом было светло и так, и я засыпал лицом к окну, чтобы видеть бескрайнее небо за ним... Вообще я любил, чтобы, когда я засыпаю, в комнате горел свет. Не то, проснувшись среди ночи, я мог стать невольным свидетелем заговора вещей, когда то одна, то другая из них в каком-то диком получеловеческом облике вдруг бросалась прямо на меня... Только в армии мои галлюцинации прекратились...

...Да, Бог свидетель – я изо всех сил старался заснуть, но у меня не получалось, и я все слышал, абсолютно все, – то, чего нельзя слышать ни при каких обстоятельствах, если ты тут ни при чем. Я и был ни при чем, разве что та женщина, которую распинали за платяным шкафом, была моей матерью. Видимо, она выпила лишнего, чего ей было нельзя, выпила и забыла обо мне или просто забылась, как мечтала о том всегда, – чтобы стать вольной и взлететь... Сначала я слышал только ритмичное поскрипывание диванных пружин и учащенное дыхание, но затем мама стала стонать, и все во мне замерло от ужаса. Он явно мучил ее, этот гад, заламывал ей руки и таскал за волосы. Только зачем? Зачем он делал ей больно, если она и так слушалась его во всем, а я-то думал, что они дружат, нравятся друг другу... Почему же он теперь издевался над ней, и в тишине, сквозь поскрипывание пружин, попадающее в такт с частотой дыхания, раздавались мамины стоны. Мне самому было больно, слезы лились из моих глаз, и я лежал, онемело уставившись в потолок и сжав зубами край пододеяльника, чтобы не зарыдать в голос. Стоны все усиливались, и это было невыносимо – они становились все жалобней, все безысходней, так плачет жертва, истязаемая своим безмолвным входящим в раж палачом, стонет, умоляя о пощаде.

И вдруг мама закричала. Такого крика я никогда от нее не слышал – хотя и привык к тому, что она часто кричит на меня, будто не понимая, что я берегу ее, забочусь о ней, люблю ее и мечтаю вырасти поскорее, чтобы постоять за нее во взрослом мире жестоких людей. Да, она закричала, но как-то иначе, – низким, диким и страшным голосом, как зверь, как смертельно раненый зверь, и в крике этом уже не было боли или мольбы – это была агония наступающей смерти.

Не помню, как получилось, что я выскочил из своего угла и с криком: «Не убивайте мою маму!» включил в комнате свет. То, что я увидел, до сих пор стоит перед моими глазами. Мама, моя маленькая хрупкая мама, которую я уже успел перерасти на полголовы, стройная, как девочка, лежала на боку лицом ко мне, тонкие пепельные волосы ее разметались по подушке и плечам, – она была голая, с голой грудью, которую она не раз, попросив меня отвернуться, обмывала тщательными осторожными движениями, наклоняясь над тазиком с теплой водой, согретой на электроплитке... А прежде она меня совсем не стеснялась и даже просила, чтобы я помыл ей спину, – и я послушно выполнял ее просьбу, с непонятными мне самому волнением и нежностью вода мочалкой по ее худенькой спине, лопаткам... ее маленькие груди подрагивали над самой водой и я не смел к ним прикоснуться, пусть даже невзначай, хотя мне и хотелось этого. Но она всегда была в юбке или трусах, или в полотенце на бедрах, а теперь она была голой, и не просто голой... За ней примостился дядя Коля – огромный, вдвое больше ее: одной рукой он сжимал мамины груди, сразу обе, в другую запустил маме между ног... Но самое страшное было даже не это, а то, что, увидев меня перед собой, эта парочка так и осталась лежать, как лежала, – мама только с усилием подняла на меня блуждающий взгляд и снова уронила голову, дядя Коля же, еще глубже запустив пальцы правой руки маме между ног, стал снова толкаться в маму, встряхивая ее так, что она непременно свалилась бы на пол, если бы он не удерживал ее, как в капкане, – теперь она молчала, то ли из-за меня, то ли оттого, что боль, вызвавшая ее крик, отпустила ее, и только этот огромный зверь, облапивший ее, вдруг издал глухой рык и задергался, добывая маму ударами своих бедер... Что было дальше, я не видел, потому что скинул навесной крюк с двери и, как был в трусах и майке, выскочил в коридор барака. Но бежать было некуда – ноги у меня подкосились, и я сполз на пол вдоль ледяной стены. Меня била дрожь, из глаз градом катились слезы. В мгновение, которое было предоставлено мне для сверки моей версии реальности с нею самой, я понял многое, если не все. Я понял, что маму никто не мучает и не убивает, я понял, что она сама хотела того, что с ней делали, и еще я понял, что я совсем не главный в ее жизни человек, как всегда полагал... И не было для меня горше открытия...

Я думал, что она сейчас выйдет, возьмет меня за руку, вытрет мои слезы и уложит спать, сказав наконец то, чего я ни разу не слышал от нее прежде, – что кроме меня у нее никого нет, что я ее единственное сокровище, то есть кровью связанный с нею, но она не вышла... Спустя несколько минут дверь открылась, и я увидел ком своей одежды в волосатой дяди Колиной руке. Затем дверные петли снова вздохнули, и передо мной вслед за комом упали на пол с глухим стуком мои ботинки, а затем – пальто, шарф, шапка. Вещи падали передо мной в ледяной тишине коридора, как приговор, который обжалованию не подлежит. Я понял так, что меня выгоняют из дому. Рано или поздно это должно было случиться. Я перестал плакать – свершилось нечто такое, что плакать теперь было просто нелепо. Свершившееся было гораздо значимей слез.

Я оделся, спустился по лестнице, и вышел в метель. Мне показалось, что это та самая метель, которую я видел за окнами тети Лизиной комнаты шесть лет назад, когда снежные хлопья стучали по стеклу, как пальцы злых духов, заглядывавших в человеческое жилье, – только теперь я был не там, внутри, а здесь, снаружи, в самой метели, словно ответив на приглашение и вызов, сделанные мне шесть лет назад. Как если бы высшие силы решили пополнить мое представление о внутреннем и внешнем этого мира. И вот что еще... Если я тогда боялся метели и тех духов, что липли, льнули к оконным стеклам, то теперь я стал как бы одним из них. Метель и я – мы были одним целым. Точнее – я был ее частью. Я вдруг почувствовал, что мне с ней легче и свободней, чем дома. Я шел по улицам, которые заметал снег, и мне было хорошо и спокойно. Возле фонарей снежные хлопья стремительно появлялись из смутной темной высоты и проносились на свету до воссоединения со своей собственной маленькой тенью, – воссоединившись, они становились снежным покровом, в который втыкались под разными углами. Или это были не хлопья, а отдельные снежинки, многогранные звездочки, – их короткую жизнь я успевал прочесть на рукавах своего пальто, или, скосив глаз, на уголке колючего воротника, – пальто у меня было перешито из старой солдатской шинели. Сами же хлопья состояли из целого семейства

сцепившихся зубчиками снежинок, потому были тяжелее каждой из них в отдельности и падали быстрее, отвеснее, и в паузах между порывами ветра я даже слышал легкий шелест их соприкосновения со снежным покровом, похожий на шуршание пузырьков в стакане газированной воды. И мне представлялось, что хлопья – это целые семьи; каждая семья состояла из набора снежинок, и таково было и все снежное сообщество, но в нем, тут и там среди тяжеловесных семей легко порхали одинокие снежинки, по какой-то причине не желающие ни с кем соединиться, некоторых не манил и снежный покров как итог и конечная цель их путешествия, и они, словно разочаровавшись в своем прибытии, даже улетали обратно в небо, или их уносило вдоль закругляющегося, но бесконечного пространства Земли бог весть куда, и тени их на снегу были совсем не заметны. И вот я воображал, что снежные хлопья – это просто тела без души, лишь кристаллизованная память воды. Они падают из небесной бездны, не различая ни себя, ни других, замороженные в космическом холодильнике, но под светом фонарей, в конце своего беспмятного пути они на миг отогреваются и обретают свою тень, свое отражение, подтверждающее, что они действительно существуют, и эта тень для них – как душа, с которой осталось только слиться. И еще, разглядывая хлопья и отдельные звездочки, я находил, что в хлопьях не было неповрежденных снежинок, – они были слеплены на манер колесиков в часовом механизме, они объединялись там, сцепившись зубчиками, дабы отмерять время жизни, но при этом редко в каком из снежных хлопьев все зубчики и насечки и крючочки были в полном порядке. Эти снежные часики не ходили и ничего не отсчитывали... Но сами по себе отдельно взятые снежинки оставались целы и невредимы, и я размышлял, что вот если хочешь жить, как хлопья, то есть в семье, в объединении, то для этого ты должен чем-то пожертвовать, какой-то частью себя самого, своими собственными выступами, зубчиками и крючочками. У тебя что-то должны обязательно отнять и отсечь, чтобы объединить с другими, приладить, подогнать под них... Но ты можешь быть и один, как снежинка, и ни с кем не объединяться. Только тогда ты не будешь иметь должного веса, тяжести, и тебя будет носить туда-сюда по воле ветра и других стихий...

Не знаю, долго ли я бродил по городу, по его пустым улицам с двухэтажными типовыми домами-бараками... может, час, может, три, но в конце концов я стал засыпать на ходу и побрел домой. О маме и дяде Коле я уже не думал и их не боялся – они стали для меня очень далекими, чужими, как и все остальное, к чему я вынужден был вернуться, чтобы не замерзнуть. Мама пренебрегла мною, она меня не защитила, она позволила выгнать меня в ночь, в метель... Но теперь мне было спокойно и безразлично. Я был выше их, потому что я понял, что проживу и один. Метель вылечила меня. И если у меня и мелькнула мысль, что пусть я замерзну, усну в снегу назло им, пренебрегшим мною ради своей похоти, я тут же рассмеялся над этой глупой мыслью, и даже удивился, что она могла возникнуть в моей голове. Нет, моя жизнь была мне дороже – и я ни за что не стану жертвовать ею даже ради того, чтобы на моей могиле покаянно рыдали и рвали на себе волосы от отчаяния. Мама моя была просто блядь, как говорили о ней наши соседи по коридору, блядь, которой мальчонки не стыдно. Мальчонкой был я. Помню, в отместку я хотел поджечь их дверь, но ограничился лишь тем, что предал огню содержимое их почтового ящика.

В коридоре было по-прежнему тихо, все спали за своими дверьми, обитыми войлоком, а у тех, кто побогаче, еще и дерматином, – но поголовный запах сна все равно просачивался наружу и давил на мои веки. Я подкрался к нашей двери, взялся за ручку и, не дыша, потянул на себя. С той стороны отозвался крючок, звякнувший в петле, – закрыто. Они закрылись от меня. Но идти мне больше было некуда. Я отряхнул снег с шапки и воротника пальто, лег рядом с дверью и провалился в небытие.

После этого случая дядя Коля к нам больше не приходил – мама выгнала его, а у меня просила прощения, стоя на коленях. Она говорила, что ничего не помнит, она была уверена, что я сплю рядом за шкафом, и утром чуть с ума не сошла, обнаружив, что раскладушка пуста. Возможно, так оно и было, и мне не стоило никакого труда ее понять и простить, тем более что теперь мне было все равно. Мама перестала быть для меня такой, какой она была прежде, я отделился от нее и стал жить свою отдельную жизнь. Не знаю, продолжал ли я ее любить, скорее я испытывал к ней чувство жалости, а иногда – досады или стыда. Внешне все было, как прежде, – она осталась моей матерью, и мы еще почти шесть лет, до самого моего призыва в армию, жили вместе, мать и сын, – но внутренне, я это чувствовал, как, наверное, и она, в ту самую ночь связь наша оборвалась... Что осталось, так это затаенная обида и еще – жажда мести. Я не знал, как я отомщу дяде Коле, потому что после того случая он исчез, но мысль, что я должен это сделать, не покидала меня.

Накануне майских праздников меня в числе нескольких самых крепких учеников нашего класса попросили разгрузить машину с новенькими партами, которые школа получила в подарок от шефов. Каждый класс, за исключением малолеток, разгружал свои парты сам. И вот, когда работа была почти закончена, я, стоя в кузове грузовика, увидел через школьный забор дядю Колю. За забором на той стороне улицы был продуктовый магазин, куда и направлялся бывший наш с мамой знакомый. Сердце мое замерло, а потом застучало так громко, что мне казалось, все вокруг должны его слышать. Я спрыгнул с машины и выскочил на улицу. Возле магазина была телефонная будка – я вошел внутрь и стал ждать. Вскоре дядя Коля появился. В руке он нес сетчатую плетеную сумку под названием авоська, то есть взятую на авось, на случай, если в магазин завезли какой-нибудь ценный продукт, – на сей раз в авоське были три бутылки жигулевского пива. Сам еще не зная зачем, я двинулся следом. Я шел за дядей Коле на расстоянии тридцати шагов, надвинув на лоб кепку, чтобы он меня не узнал, если обернется, но дядя Коля и не думал оборачиваться, – это ему было не к чему. Он вышагивал уверенно, неторопко, как знающий себе цену и вес человек, под началом которого корячилась целая бригада, послушная его зычному голосу и сумрачному взгляду. Пожалуй, он был даже видный мужик, – большой, кряжистый, цыганистого типа, самодовольный и наглый, не ставящий людей ни во что, бабья порча, как сказала о нем тетя Лиза, – это он делал с моей матерью, что хотел, и в его медвежьих объятьях она, голая, срамная, пьяная, забывала обо всем, даже о своей сыне... Я почти ничего не знал о нем, – была ли у него где-то там, на юге, своя семья, жена, дети, я не знал, куда он направляется и ждет ли его кто, но, судя по трем бутылкам пива, он шел не на свидание, а скорее к себе домой...

Были уж сумерки, но небо на западной окраине не погасало – начались белые ночи... Улицы города уже просохли, освободившись от снега и льда, и только во дворах еще тут и там на фоне черной оттаявшей земли белели зимние залежи. От них в чуть согревшемся за день воздухе веяло холодом, и таким же холодным был вечерний неубывающий свет над крышами домов. Я крался за дядей Колей, и сердце мое громко стучало. Он шел как-то странно, то улицей, то дворами, словно, хотел запутать меня, впрочем, в развороте его плеч, в его походке читалось другое – что прошлого за ним нет, в смысле гнетущих воспоминаний и укоров совести. Он нес свою непробиваемую правоту. Да, он ни разу не обернулся, хотя мой взгляд должен был уже прожечь ему затылок.

Я так увлекся преследованием, что споткнулся и чуть не упал. Под ногою лежал небольшой острый камень, вмерзший в наледь. Я выбил его носком ботинка из лунки и взял в руку. Я сделал это раньше, чем сообразил, зачем он мне нужен. Но теперь я знал, зачем. Камень был тяжелый, ребристый и удобно лежал в руке. Сначала я решил подкрасться поближе и бросить камень в затылок дяде Коле, но на голове его была фуражка, так что мой враг вряд ли бы прочувствовал в полную меру избранное ему наказание.

Я опустил камень в карман своей куртки и прибавил шаг. Впереди был дом – торцом к нам – обыкновенная пятиэтажная хрущевка. Я свернул направо, решив обогнуть дом с другой стороны, чтобы встретить дядю Колю у дальнего торца. Мой ни о чем не подозревающий враг шел все так же неторопливо и самодостаточно, а я, оставив его за углом, рванул вперед, как русская борзая. Оббежав дом и загнанно дыша, я затаился. На меня смотрели два торцовых окна первого этажа, за ними горел свет, но они были занавешены. Перед окнами торчали голые кусты, спрятаться в них было невозможно, и в томительном ожидании я встал между ними и окнами. И вдруг меня точно током пронзило – пока я тут жду, дядя Коля уже исчез в парадной и поднялся к себе, – это его дом, здесь он живет, и я не знаю, в какой из квартир! В отчаянии я вынырнул из своего убежища, чтобы, может быть, еще застать дядю Колю на лестничной площадке... но тут он появился сам. Никуда он не сворачивал, он шел мимо меня. До него было метров шесть, но меня он по-прежнему не видел, погруженный в себя. Не раздумывая, я прицелился и швырнул камень, рассчитывая попасть ему в лицо, в правую, обращенную ко мне щеку, а лучше – в висок...

Я попал – звук был такой, будто треснула кость. Дядя Коля глухо вскрикнул, пошатнулся и упал. Я слышал, как в авоське разбились его бутылки. Больше я не слышал ничего – я летел обратно, как ветер, и никто бы сейчас не смог меня ни догнать, ни остановить.

Кировск не такой уж большой город – одних и тех же людей встречаешь довольно часто, особенно в центре, но о дяде Коле я ничего не знал вплоть до окончания школы. Я не верил, что

мог его убить, – ведь убивать я не собирался... Столкнулся я с ним почти лицом к лицу лишь когда мне было уже восемнадцать – в тот день меня забирали в армию. Он шел мимо военкомата, а я стоял в группе уже обритых наголо новобранцев, с рюкзаком на плече. Он прошел мимо и меня не узнал – да и не смог бы узнать, ведь ростом я сравнялся с ним. Я же успел заметить, что правый глаз у него закрыт веком, как глухой заслонкой. В тот момент я не испытал никакого раскаяния – око за око, зуб за зуб.

5

– Вижу яхту! – раздался голос Макси в динамике внутренней связи, и я, переглянувшись с шефом, выскочил на палубу. Макси сидела у штурвала. Любительница поваляться с утра, выглядела она неважнецки. Вечерняя тушь расплылась вокруг глаз, придав им какую-то цыганскую вульгарность, губы без помады поблекли, и вся она как бы съехала на одну сторону от неурядиц, свалившихся на ее голову. Хотите проверить свою невесту на вшивость? Не дарите ей цветы, не носите ее на руках, лучше устройте ей небольшой экстрим с отрицательным физическим и психологическим фоном, – тогда будете точно знать, что можно ожидать от нее в будущем. Иными словами – прежде, чем жениться, съешьте вместе с ней пуд соли.

Макси молча передала мне бинокль, кивнув в восточном направлении. Но и невооруженным глазом я видел яхту, вернее, катер. Я навел окуляры и прочел надпись на носу золотыми буквами – «Larisa». Сердце мое екнуло – наши. Я даже не знал, хорошо это или плохо. Наши могли и пустить на дно, предварительно ободрав, как липок. Русские вообще своих за границей недолюбливают. Встреча с соотечественником их чаще оскорбляет, чем радует. Однако тут же я облегченно вздохнул – на флагштоке трепыхался греческий флаг. На палубе никого не было, судя по всему судно лежало в дрейфе. Да, это был морской круизный катер, похожий на наш.

Машинально я глянул на приборную доску – горючее у нас было почти на нуле.

– Шефу доложу, – сказал я и нырнул вниз.

Собственно, план созрел в моей голове еще раньше доклада. Надо было во что бы то ни стало добыть горючее – иначе нам не добраться ни до Корсики, ни до Сардинии. Впрочем, «во что бы то ни стало» имело свои ограничения – без мокрухи. На моей совести и так была не одна смерть, и я не хотел продолжать этот печальный список.

Шеф одобрил мой план, и его снисходительно-поощряющая улыбка означала, что годы, проведенные вместе, прошли для меня не зря. Я часто понимал его и без слов, научившись по выражению лица читать его мысли. Я хоть и считал себя свободным человеком, легионером, но за то, чтобы прочесть одобрение в глазах хозяина, готов был чуть не в лепешку разбиться. Что говорить...

Достать горючее – это был для нас при любом раскладе необходимый минимум. Но конечно же, нам нужна была и радиосвязь, и спутниковый навигатор и... Впрочем, я должен был действовать по ситуации. Одно было ясно, этот катер – добрый знак для нас. Это была помощь, посланная нам если не Богом, то провидением.

Минут десять спустя мы уже подходили к борту «Ларисы», чайки, в переводе с греческого. Она было поменьше нашей, но шикарнее, типа «люкс».

Видимо, хозяева крепко спали. Поколебавшись, каким образом мне их будить, я удачно пришвартовался, благо, качка пошла на убыль, закрепил кормовой и носовой концы, невольно залюбовавшись обводами судна, напоминавшего по форме какое-то морское животное, скорее всего – лобастого дельфина, и, шагнув на палубу, вежливо постучал по краше каюты:

– Sorry! Anybody here? – Из всех языков международного общения английский звучал наиболее солидно. Я повторил эту фразу несколько раз, прежде чем глухая дверца из каюты отворилась и сначала из нее показалась рука с маленьким браунингом, а затем взлохмаченная голова смуглого мужчины моих лет. Лицо у него было решительное, точнее, он хотел так выглядеть, но я сразу же понял, что передо мной чайник, охотно поднял руки и сказал:

– No pr obleм, sir, мы не пираты. Мы терпим бедствие. У нас больной человек на борту, при смерти. У нас нет связи с берегом.

Мой голос звучал достаточно убедительно, тем более, что говорил я почти чистую правду. Мужчина бросил взгляд из-за меня на Макси, которая, успев привести себя в порядок, улыбалась ему с нашей палубы, как с рекламного постера. Вид ее все и решил.

– О'кей, – сказал мужчина, сохраняя напускную суровость, однако напряжение схлынуло с его лица и тревога в глазах исчезла. Дверь за ним защелкнулась, он поднялся на палубу, оказавшись высоким, довольно крупным детиной, и повел плечами, как бы давая понять, что шутки с ним плохи. Но на меня это не произвело впечатления. Таких крутых я укладывал одним ударом. Так, слегка потрепанный жизнью плейбой.

Я улыбнулся ему, он мне и, демонстративно засунув ствол сзади за пояс джинсов, протянул руку. Был он босиком, в черной футболке, на которой желтым было написано одно слово – «Salamanka». Видя, что я не опускаю рук, как бы не на шутку испугавшись, он рассмеялся и хлопнул меня по ладони правой в знак приветствия:

– Relax, guy, how can I help you? (Расслабься, парень, чем могу помочь?)

Лицо его действительно выразило готовность принять участие в нашей беде – первый признак цивилизованного европейца, достойного представителя своего среднего класса, а может даже и повыше – аристократии. Для этого не обязательно быть ровней, достаточно иметь хорошую яхту или машину. Акцент выдавал в нем грека, коим он и оказался. Он плыл со своей подругой на Балеары, на Ибису, где пляжи были забиты одними нудистами. Сам-то он не нудист, но его girlfriend...

– Where are you from? (Откуда вы?)

Я сказал, что мы сербы, так как русские на Средиземноморье были уже не в чести, а на флагштоке у нас реял флаг стран европейского содружества. Наши народы были православными и это нас сразу сближало, а вот отличить русский от сербского грек вряд ли мог...

– Я врач, – сказал он, что было для меня полной неожиданностью. – Я готов осмотреть вашего больного – чем могу, помогу. Что у него?

– Огнестрельное ранение, – сказал я, прямо посмотрев ему в глаза.

Это был вызов, и он его принял. Ничто в его лице не изменилось, будто огнестрельное ранение это то, с чем он каждый день сталкивался. Кстати, в Югославии уже шла война. Я понял, что он сделает так, как нам нужно, лишь бы поскорее оставить позади этой неприятный инцидент с непрошеными гостями, пришвартовавшимися к его яхте. Выпроваживать нас под дулом пистолета он не решился или просто профессия не позволяла. Он был полон врожденного достоинства и благородства – черт, которых начисто лишился русский народ, потеряв свою аристократию и дворянство. Все мы подлые холопы, и таким же был и я.

– У вас есть хирургические инструменты, антибиотики? – спросил я.

– Я детский врач, – уточнил он.

– Тогда вы не сможете нам помочь, – сказал я.

– Я могу оценить состояние раненого, – сказал он. – Антибиотики у меня есть.

– Хорошо, – сказал я, – несите все, что у вас есть: йод, бинты, антибиотики, болеутоляющие и жаропонижающие средства...

Он внимательно посмотрел на меня – не издеваюсь ли я над ним. Я был серьезен, но в душе я, конечно, прикалывался – я не мог не смеяться над его воспитанием, которое не позволяло ему послать нас подальше, как бы ему того ни хотелось. Известно ведь, что злые сильнее добрых,

потому что могут позволить себе играть не по правилам. Я его не только сразу раскусил, но и почти сразу презирал – он был мой антипод, благородный до тошноты носитель гуманизма и ханжеской христианской морали.

Грек, его звали Накис, кивнул, еще раз посмотрев через мое плечо на рекламную Макси, словно она была стрелкой на барометре непредвиденных обстоятельств, и скрылся в каюте.

Мы с Макси переглянулись – она слышала наш разговор, и взгляд у нее был вопросительный. Я приложил палец к губам.

Спустя минуты три Накис появился в сопровождении высокой заспанной девицы, скорее всего мулатки. Я плохо разбираюсь в смесях: метиски, мулатки, квартеронки – все это мне ничего не говорит, – просто в ней были явные признаки африканской крови, негроидной расы, хотя и облагороженные вливанием европейской. Однако красавицей подруга Накиса не была, – длинная, со впалыми щеками и крупным своенравным ртом, сомкнутым, как для поцелуя. Возможно, ее пра-пра-бабку с какого-нибудь Берега слоновой кости привез в Старый свет белый капитан или пират и настрогал с ней смуглых потомков, которые потом расплозились по всем континентам, плодясь и размножаясь в самых диковинных сочетаниях... У нее был чуть приплюснутый нос, с выпуклыми чуткими дугами ноздрей. Надо сказать, что приплюснутые носы мне все же нравились больше нагло торчащих клювов, – я вслед за Ламброзо был даже склонен связывать форму носа с характером его обладателя. Скажем, вздернутый нос – у кичливых, вздорных, но и храбрых людей, за длинным и острым – целый список тайных и явных пороков, плюс повышенная энергетика, за прямым, с хорошо выраженными ноздрями – ум, уравновешенность, благородство... Так вот за приплюснутым носом, за его афро-азиатской формой мне лично всегда чудилась сдержанность, закрытость, умение хранить тайну, а при раздуваемых, как паруса, ноздрях – страстность, даже необузданность... Бог, лепивший расы, как бы придавил указательным пальцем нос афро-азиатов, сохранив таким образом ту бешеную энергию преемственности, которая им понадобится, когда уставшая от тысячелетий лидерства кровь белых превратится в пустую водицу. Так гриб под шапкой из корней травы, палой листвы и хвороста растет крепче, раздаваясь вширь. Самым красивым носом такой породы обладала разве что Патриция Кемпбелл, фамилию которой можно было бы перевести, как «лагерный колокол» (camp-bell). Ну, вроде нашего висящего на тросе обрезка рельсы, по которой бьют чем попадая, созывая на скудный бамовский обед. Впрочем, нынешнее поколение уже не помнит, что такое БАМ. Может, оно и к лучшему.

Девицу звали Таласса. Уж не знаю, зачем он ее вытащил на свет, – для моральной поддержки?

– Накис сказал, что вашему другу плохо, – изобразила участие Таласса. Одета она была в шелковый халат, расписанный драконами, точнее кимоно, доходившее ей до голеней.

– Накис немного ошибся, – сказал я. – Плохо не моему другу, а моему боссу. А вы случаем не медсестра?

Она не сразу ответила – она пыталась понять, что стоит за моей вежливой наглостью – невоспитанность или угроза. В следующее мгновение, тряхнув волосами, которые, свиваясь в спиральки, даже крепче носа держались за свои африканские корни, она решила лучезарно улыбнуться:

– Нет, я работаю в салоне красоты. Уход за кожей лица, маникюр, педикюр.

– В таком случае у нас с вами родственные профессии, – заметил я.

– Вы парикмахер? – с притворным энтузиазмом спросила она. На ее месте я бы тоже обрадовался – ну какой вред от парикмахера...

– Нет, – сказал я, – массажист.

– О, – сказала она, – люблю, когда мне делают массаж...

– Я тоже, – сказал я многозначительно. И странно, но оба мы подумали об одном и том же, и я увидел, как понятный образ на мгновение против ее воли завладел ею, и Талассе пришлось еще раз тряхнуть головой, чтобы избавиться от наваждения. А все было просто – перед ней стоял *ее* мужчина, как передо мной – она, *моя* женщина. Только она этого еще не знала, как не знал этого и бедный Накис, проживший на свете тридцать семь лет, имевший жену, детей и дом в Афинах, плюс более чем успешную врачебную практику, но надо же! – потерявший голову из-за Талассы, с которой тайком от всех отправился в другую жизнь по романтическим волнам Средиземного моря, где в нейтральных водах она встретила меня, мужчину своих девичьих грез. Нет, если честно, я тоже не сразу это осознал, просто вдруг возникло поле притяжения, с которым я еще несколько часов тщетно боролся, не понимая, что со мной...

Ее английский был чище, чем у Накиса, хотя фразы она строила проще, чем он. Они с Накисом были сама доброжелательность, им не хотелось лишних проблем. Почему бы нам действительно не оказаться мирными безобидными сербами, один из которых по недоразумению получил пулю в спину. Бывают же шальные пули...

Макси, оставаясь на нашем борту, вступила с Талассой в светский диалог. Вот у кого английский был просто варварский, но Таласса, похоже, ее прекрасно понимала. Женщины... Таласса пошла переодеваться, а я с Накисом спустился в каюту к шефу. В руках у Накиса был небольшой портфельчик, типа походной докторской сумки. Да, Накис действительно оказался врачом, что даже по теории вероятности следовало отнести к чуду. Я сказал ему, что как бодигард должен проверить и чемоданчик и его самого, но Накис с достоинством отстранился: «Я врач».

Шеф выглядел плохо. Он слабел буквально на глазах, дышал с трудом, лоб его был покрыт испариной. Накис попросил разбинтовать его и внимательно осмотрел рану. Дырка под лопаткой, из которой сочилась сукровица, дышала бедой, была черной, к ней прилегал широкий круг красноватой опухоли. Накис покачал головой и, достав стетоскоп, стал прослушивать шефа. При этом он смотрел в сторону, как бы в воображаемую картину того, что делалось у пациента внутри.

Стоя за его спиной, я вдруг увидел выразительный взгляд шефа, показывающего мне на выход, и тонкие посеревшие губы его беззвучно артикулировали по слогам «про-верь!»

– Вернусь через минуту, господа, – сказал я по-английски и поднялся на палубу, прихватив по пути наручники из тайника возле наружной двери.

Макси и Таласса встретили меня светскими улыбками. Им нашлось, о чем поговорить.

– Таласса, ваш друг просит принести ножницы – он их оставил в туалетной комнате, – вполголоса сказал я.

Таласса подняла брови – теперь она была в черных облегающих шортах и розовой трикотажной рубашке, концы которой она связала узлом на обнаженном животе:

– Ножницы? Там нет никаких ножниц.

Я поднял палец к губам и прошептал:

– Срочно. Нужна операция.

Таласса недоуменно пожала плечами и тоже перешла на шепот:

– Хорошо, пойду посмотрю... Хотя я точно помню...

– Если можно, побыстрее, – просительно сказал я. – Времени нет. Давайте вместе поищем. Он сказал – в туалетной комнате на полке...

Макси испуганно слушала нас, принимая происходящее за чистую монету.

Вслед за Талассой я спустился в пахнущий сном и дезодорантами салон, середину которого занимала разобранная полутораспальная кровать, с кучей тряпок на одеяле и примятыми

подушками, рядом на полу лежал раскрытый чемодан, наполовину пустой, словно в нем второпях искали что-то. Пистолет?

– Извините, у нас тут не прибрано, – сказала Таласса, идя впереди. – Накис так любит порядок, а я – наоборот... – Она повернула ко мне свою голову на длинной гибкой шее и рассмеялась, продемонстрировав верхний безукоризненный ряд своих зубов в распахе влажно-коричневых упругих и крупных губ. Породы в ней было хоть отбавляй. Я вдруг неистово захотел ее, что было совершенно невозможно, несвоевременно, но светящийся след этого внезапного желания так и остался во мне, никуда не исчезнув.

Перед узким коридорчиком она замешкалась, я случайно оказался впереди и, чтобы пропустить ее, подтянул живот. Но она все равно невольно задела меня высокой грудью.

– Вот туалетная комната, – сказала она, входя в душистое, сверкающее зеркалами и никелем помещенье, – где тут ваши ножницы? Не вижу никаких...

Она не успела закончить фразу – шагнув следом, я обхватил ее левой рукой за шею, так чтобы ей было трудно дышать, рявкнул на ухо: «Тихо!» и силой посадил на пол.

– Что такое? – изумленно спросила она, видимо, полагая в первые секунды, что стала объектом сексуального домогательства. Я же молча заломил ей руки за спиной и надел наручники, зацепив цепочкой за узкую трубу, тянущуюся у бортовой стенки вдоль пола.

– Ей, мистер, что такое? – повторила она, сидя на полу.

– Ничего страшного, – сказал я, стоя над ней и подавляя желание сорвать с нее все и изнасиловать. – Временные неудобства. Не делайте глупостей и все кончится хорошо.

– По-моему, это вы делаете глупости, – повысила она голос. – Немедленно освободите меня.

Я задраил иллюминатор и опустил шторку:

– Если будете кричать, мне придется заклеить вам рот. – Хотя теперь ее крик не был бы слышен.

– Я требую освободить меня, – сказала она.

– Пока это невозможно, мэм, – мягко сказал я. – Сидите тихо – вот мой вам совет.

– Что вы собираетесь с нами делать? – спросила она, меняя интонацию, словно вдруг что-то осознав.

– Зажарить и съесть, – сказал я, вышел и запер дверь на защелку в круглой хромированной ручке.

Я прошел по узкому коридору к носу и оказался в маленькой переборке, типа радиорубки, где уместился лишь стол со стулом. На столе по экрану включенного ноутбука плавали рыбки. Я пошевелил мышкой и на экране высветился интерфейс почтовой программы «Outlook Express». Красным флажком на ней было обозначено срочное сообщение. Я открыл его, и меня прошиб холодный пот. На входящем документе черным по белому было написано: «В вашем квадрате будем через два часа. Попробуйте их задержать, не вызывая подозрений». Сообщение пришло две минуты назад. Я открыл папку отправок и прочел про нас, миленьких. Этот Накис был не лыком шит. За считанные минуты отсутствия он успел написать: «Встретился с яхтой, о которой вы запрашивали. На борту трое. Один раненый. Просят о помощи». Тут же на полке я обнаружил его тринадцатизарядный браунинг. Нельзя было медлить ни секунды – Накис мог заподозрить неладное, а в его руках безоружный незащитный шеф. Как это я оставил шефа... Мне представилась дикая картина – шеф заложник, за ним, охватив рукой его шею, как только что проделал это я с Талассой, стоит со скальпелем у его горла верзила Накис и диктует свои правила игры. Какой я идиот! Проиграть партию, когда все козыри были в моих руках! Катастрофа!

Макси сопровождала мой стремительный нырок в каюту поспешным: «Что случилось?»

– Они все знают! – прошипел я и, взяв себя в руки, пистолет в кармане, стал неспешно спускаться по лесенке.

Паника отменялась. Накис не взял моего шефа в заложники. Теперь, сидя рядом с шефом, он измерял ему давление. Ну, как же – теперь он будет изображать из себя доктора Айболита, протестирует языком мочу на сахар, задумчиво, как ищейка на выгуле, обнюхает чужое дерьмо, а потом сделает клизму, что рекомендуется при воспалительных процессах. Как раз за час и нарисует полный анамнез состояния пациента, объявленного в международный розыск.

– И как оно? – по-английски спросил я, появляясь в каюте.

– Что именно? – поднимая сосредоточенный взгляд, переспросил меня Накис, весь еще мысленно там, в темном лабиринте вен, сосудов и артерий, в которых вялыми неверными толчками пульсировала кровь моего шефа.

– Давление, – сказал я. – Оно случайно не повысилось?

– Давление низкое, – сказал Накис, снимая с руки шефа надувную манжету и внимательно глядя на меня, – девяносто на шестьдесят... Я бы рекомендовал...

– Он все знает, шеф, – по-русски сказал я. – Он успел нас заложить. Полиция будет через два часа.

– Я бы рекомендовал... – медленно вставая и не сводя с меня глаз, повторил Накис.

Я вынул из кармана браунинг, снял с предохранителя и навел на Накиса:

– Спасибо, доктор. Вы свое дело сделали. Руки за голову! – И по-английски же спросил: – Что с ним делать, шеф? Пристрелить?

– Вы не можете меня убить, – бледнея, проговорил Накис. – Я подданный Греции. Мы друзья России. Вы не можете допустить международный конфликт.

– Он знает, что мы русские, шеф...

– А что он еще знает?

Я перевел его вопрос Накису. Руки за головой, доктор поспешно заговорил, то и дело переводя взгляд с шефа на меня:

– Вчера на сайте яхтклуба, членом которого я являюсь, Интерпол поместил объявление о розыске яхты с тремя русскими. Там написано, что убит сотрудник Интерпола, а один русский предположительно имеет огнестрельное ранение. Я понял, что это вы.

– Он понял... – сказал я по-английски. – Умный очень. А стучать зачем?

– Pardon? – наставляя ухо, нервно переспросил Накис, боясь упустить важное для себя и своей жизни слово. С него катился пот.

– Докладывать зачем?

– Я не докладывал. Это вы нас остановили.

– Мы остановили, чтобы попросить о помощи.

– Разве я не пытаюсь помочь?

Я усмехнулся:

– Что с ним делать, шеф?

– Связать и запереть. И подругу его.

– Уже сделано.

– Молодец.

У нас еще была лишь пара наручников – шеф иногда пользовался ими для любовных утех. Не опуская ствола, я нашарил их в верхнем ящике тумбочки возле кровати, бросил под ноги Накису, и он сам их на себе послушно защелкнул. Я велел ему сесть на пол. Пот обильно бежал по его крупному смуглому лицу, будто это он, а не шеф, был ранен.

– Что вы с нами сделаете? – спросил он. – Убьете?

– Почему бы и нет, – сказал я.

– Это может привести к ухудшению дипломатических отношений...

– Плевать мне на дипломатические отношения! – сказал я.

– Мы вам ничего не сделали... – сказал он.

– Вы нас заложили, – сказал я. – Не надо было быть таким ретивым.

– Это был мой долг, – сказал он. – Это правила поведения в цивилизованном обществе. Мы должны помогать полиции. Каждый бы так сделал на моем месте.

– За это придется ответить, – сказал я.

– Стоп, – поморщился шеф, – хватит. – Он говорил по-английски не хуже меня.

– Таласса ни в чем не виновата, – сказал Накис, потев от волнения. – Я ей ничего не говорил про вас и Интерпол.

– У вас ведь есть жена, – наугад сказал я.

Замявшись, Накис ответил:

– Да...

– Но Таласса вам не жена? – сказал я.

– Нет, – тихо сказал Накис.

Если бы он знал, как для меня это важно...

– Ваша жена знает, что вы с Талассой отправились на Балеары?

– Это не ваше дело, мистер, – вспыхнул Накис. – Я больше не желаю отвечать на такие вопросы.

– Вот и отлично, – сказал я. Этого хватило, чтобы моя чаша весов потянула вниз. В моральном смысле. Ибо в этой жизни чаще побеждает тот, кто прав. Когда ни в чем не повинный человек попадает в капкан, это, как ни крути, несправедливо. Пусть Накис почувствует, что он отнюдь не невинная овечка. Не изменял бы своей жене, не разводил бы амуры с Талассой, так и не сидел бы сейчас передо мной на полу, мокрый как курица.

Переглянувшись с шефом, я сказал:

– Мы не собираемся вас убивать. Но вы нам создали проблему, и без вас теперь нам ее не решить. Но если не будете нам мешать, вам ничего не грозит...

Кажется, Накис мне поверил. Впрочем, это было неважно. Я запер его в нашем гальюне, тоже пристегнув к трубе, и вернулся к шефу. Возбуждение схлынуло, и мы снова остались с ним один на один, как вчера, когда мы ждали погони. Будто повторялся вчерашний день, только положение наше было не лучше, чем вчера, скорее – хуже, ибо теперь мы точно знали, что на нас объявлена охота.

Я перевязал его рану:

– Что будем делать, шеф?

– Твои предложения... По-моему, у нас уже два заложника.

– Я могу их выпустить...

– Это не лучший вариант.

– Предлагаю связать их и оставить на их яхте. Через два часа их все равно найдут.

– А если не найдут?

– Тогда, шеф, они будут дрейфовать, пока не утонут или не умрут с голоду.

– И это ты берешь на себя?

– Смерть то есть?

Шеф насмешливо кивнул.

– Не беру, – ответил я, подумав.

– Тогда что?

– Тогда берем их с собой. На их яхте. У них горючего хватает, я смотрел, а у нас почти на нуле.

– А что с нашей яхтой? – похоже, шеф уже все решил и только проверял на мне свои ходы. Мне же оставалось только угадывать их.

– Бросим, – сказал я. – Все равно нет времени переливать горючее. А у них и скорость выше, по крайней мере, по приборам. Можно и затопить... – добавил я, видя продолжение хода мыслей в его взгляде. – Концы в воду. Пусть ищут...

– А мне потом плати, – с укоризной покачал головой шеф.

Он говорил о «потом» – значит, верил в благополучный исход. Это придало мне сил и энергии. Да, пока еще все можно было оправдать. Даже убийство агента... – если адвокаты докажут, что шеф стрелял в целях самообороны...

– Быстро! – сказал шеф. – Перебираемся. Десять минут на сборы. Зови Макси. И отключи там у них навигатор, радиомаяк. Все отключи. Нас нет. Пока не оторвемся, не будем выходить на связь...

Я сделал, как велел шеф, на секунду задержавшись перед дверью в туалетную комнату, где я запер женщину, близкое присутствие которой все время отдавалось дрожью в моей груди. Макси, закусив губу, уже перетаскивала баулы и узлы из простыней со всеми нашими причиндалами. Деньги из сейфа перекочевали в кожаный портфель шефа, и шеф держал его на коленях, дожидаясь своей очереди. Оказалось, что он уже не может идти, и мы перетаскивали его на руках, оставив, по его просьбе, на корме подышать свежим воздухом.

Потом я вернулся и открыл дверь в гальюн. Накис сидел на крышке унитаза и вопросительно смотрел на меня. Однако вид его выражал смирение – как-никак ему была гарантирована жизнь. Я

перевел его в наручниках на борт его родной «Ларисы» и запер в галюне, который был здесь поцивильней. Накис хотел у меня что-то спросить, но передумал. Он и так понял, что все живы и что мы спешно отплываем.

Только Макси, молча проследив, как я – пистолет в руке – сопровождал Накиса в наручниках, не выдержала и взорвалась:

– Что здесь происходит, черт подери? Могу я знать, что происходит? Или я для вас никто?

– Ты для нас все, Макси, – подмигнул я. – Особенно когда с закрытым ртом. – И уже серьезно добавил: – Они на нас полиции настучали. Дали координаты. Теперь драпаем...

– Господи! – простонала Макси. – Куда мы теперь?

– Иди еще раз проверь каюту, подсобки. Все ли взяли. А то тряпки твои во всех углах...

– Как и ваши носки! – огрызнулась она.

– Быстрее, времени в обрез!

Вновь появившись на палубе нашей яхты, Макси, встала у борта и, мрачно посмотрев на меня, а потом на шефа, сидящего на корме, заявила:

– Никуда я не поеду. Вы как хотите, а я остаюсь. Мне они ничего не сделают. Связалась, блин, с бандитами. Думала, нормальные люди... Все, конец, финита! Дайте мне денег и гуд бай! Хочу жить, как все. Хватит на мою задницу приключений. Отпустите меня, пока вы тут еще никого не прикончили.

– Иди сюда! – приказал я.

– Пошел на хер! – сказала она.

– Что, перегрелась? – сказал я, гоня куда подальше собственную предательскую мысль – остаться на нашей яхте, поднять парус и дунуть налегке, растаяв без следа в голубой дымке неизвестности. Но это была лишь секундная слабость.

– Это вы тут перегрелись, ублюдки, робинзоны херовы!

Не знаю, почему она вспомнила Робинзона. Я посмотрел на шефа. Он слабо усмехнулся пепельными губами и сказал:

– Ладно, отпусти ее, Андрей.

Я демонстративно кивнул, и не успела Макси оценить ситуацию, как я освободил носовой кнехт и оттолкнул ногой соседний борт:

– Вали...

Несколько секунд Макси в оцепенении смотрела, как растет между нашими белоснежными бортами фиолетово-зеленый провал, а затем с криком: «Нет!», двойным прыжком одолела пространство, разделившее было нас и, воткнувшись с лету в меня, зарыдала:

– Сволочи! Предатели! Иуды...

Оставив ее объясняться с шефом, я спустился в отсек, посмотрел данные навигатора на момент отключения и еще раз прочел сообщение Накиса – увы, он правильно указал наши координаты. Я сверил наш путь по карте и ахнул – за шесть часов до встречи с «Ларисой» мы прошли всего семьдесят миль и не к Сардинии, а гораздо южнее. Бред какой-то. Судя по нашему местонахождению, до Сардинии было ровно столько же, сколько и вчера, когда мы покинули Менорку, миль двести пятьдесят, то есть в лучшем случае восемь-девять часов пути. Теперь с таким же успехом можно было плыть и в Африку, до Туниса, только я совершенно не

представлял себе, как мы будем спасать свои шкуры среди арабов – не дай нам бог еще каких-нибудь там фундаменталистов... Похоже, Макси всю свою вахту ходила по морю кругами (потом она призналась, что заснула за штурвалом, вернее, прямо на нем, а проснувшись, обнаружила по компасу, что мы вместо востока чешем на запад, к Каталонии...) Да, дорого нам обошлось отсутствие навигационной системы.

6

Невинность я потерял рано – в четырнадцать лет, при роковых обстоятельствах, и с тех пор не знал покоя. Но в другом смысле – я ведь никогда не был бабником, и то, что у них, у баб, между ног, никогда не было для меня фетишем, главным в жизни, как и самочувствие моего собственного члена. Главным для меня было нечто, далеко от меня отстоящее, но, тем не менее, под влиянием прочитанной литературы кажущееся вполне достижимым: я хотел стать сверхчеловеком, я хотел переступить через порог тайны, отделяющей простого смертного от непростого... Я хотел стать особенным, избранным. Я знал: такие люди есть, – я говорю вовсе не о Христе и не о Будде, и даже не о Рамакришне, Кришнамурти и Шри Ауробиндо – я хотел подняться хотя бы на уровень учителей, проповедующих идеи великих, светочей человечества, я хотел стать хотя бы маленьким факелом, фонариком, лазерным лучиком, пронзающим нашу человеческую тьму.

Но тогда, в свои четырнадцать, я был еще слеп, жил, как насекомое – инстинктами, и они, инстинкты, говорили мне, что заниматься онанизмом нехорошо... Тогда уже целый год прошел у меня под знаком борьбы с этим ущербным явлением, – борьбы, заключающейся в том, что, каждый раз, выпуская из себя фонтанчик матовых брызг, я испытывал стыд от собственной неполноценности, поскольку знал, что ТАКОЕ следует делать не с самим собой, а с женщиной. И я твердо решил стать мужчиной. Тем же был озабочен и мой друг Володька, тем более, что он был на полгода меня старше и хвастался тем, что у него уже набухли и болят соски. Он говорил мне, что это признак возмужалости и что теперь от него могут быть дети, однако в голосе у него звучало сомнение – вдруг его грудь превратится в женскую... Успокоился он только после объяснений с отцом. У меня соски еще не болели, но занимался я онанизмом ничуть не меньше Володьки. Иногда мы предавались этому греху вдвоем, избирая в качестве объекта вожделения одну из обнаженных красоток на колоде карт, которую Володька нашел у отца. Карты были явно кустарного производства, может, даже из какой-нибудь зоны. Интересно, что при том совместном удовлетворении своих сексуальных амбиций нам ни разу не пришлось в голову попробовать это друг с другом; спасала нас от расширения сексуального поля деятельности, пожалуй, лишь наша дремучесть.

У Володьки были оба родителя, оба работали в гараже, и после школы до пяти вечера комната, в которой они жили, была в нашем распоряжении. Она была гораздо просторней, чем у нас с матерью, и там мы и проводили свое свободное от взрослых время. Деревянный, двухэтажный Володькин дом был как раз на моем пути в школу. Володька жил на втором этаже. Сложив вдоль стенок посторонние предметы, сдвинув в сторону стол и стулья, мы занимались в центре комнаты вольной борьбой, изучали приемы, описания которых вместе с картинками мы нашли в одной замечательной брошюре, выпущенной издательством «Физкультура и спорт». По очереди мы отрабатывали их друг на друге, а затем проверяли на своих хлипких одноклассниках в спортивном зале школы. Бросок через бедро или через плечо в комнате мы не могли себе позволить, так как обязательно что-нибудь опрокинули бы, но борьба в партере почти ничем нас не ограничивала, и мы представляли себе, как будем вот так же распинать и обездвиживать непослушных женщин. Но не только их... После таких занятий мы чувствовали себя сильнее тех, кто нас окружал, мнили себя избранными – не это ли сформировало потом мою идею стать сверхчеловеком? Я был убежден, что в двадцать лет стану мастером спорта, хотя еще не знал, в каком виде. Так и получилось.

Невинность я потерял из-за спичек. Точнее, из-за их отсутствия.

Однажды поздней осенью, в сыр и грязь, когда не переставая шли мелкие холодные дожди, и небо висело над самыми крышами домов, поглотив до того Хибины, когда особенно отраднo было сидеть дома, в тепле Володькиной комнаты с жарко натопленной печкой, мы, отработав очередной

прием в партере, захотели чаю. Но спичек в доме не оказалось. Володька уже обшарил все мыслимые уголки и теперь озадаченно смотрел в потолок, что-то соображая.

– Ничего, – почесал он нос. – Щас найду. К соседям схожу...

Он долго не возвращался, а когда вернулся, не мог понять, о каких спичках я его спрашиваю. Был он возбужден, глаза чуть не вылезали из орбит, губы раззявлены от удивления или еще от чего-то.

– Пойдем, – схватил он меня за рукав и потянул к двери.

– Куда? – не понял я, оставаясь на месте, что мне не стоило особого труда, так как я был сильнее.

– Что ты? Пойдем, – уже просительно воззрился он на меня, утрачивая состояние минутного превосходства. – Там такое, не пожалеешь! Баба там дает. Мне дала и тебе даст. Пойдем! Я еще хочу. Вместе ее отжарим.

Надо ли говорить, что это была искра, упавшая на сухой или пусть чуть подмоченный хворост наших мальчишеских фантазий и разговоров. Воображение мое вспыхнуло, под сердцем образовалась пустота, а под животом – холод, будто я глянул в пропасть или улетел на качелях под самые небеса. Но первоначально главное было все же в другом – в том, что я должен был поддержать в глазах друга свой авторитет лидера.

...Дверь в квартиру соседки была незаперта, и Володька, крадучись, без стука проник внутрь и поманил меня. В кухне было полусумрачно, но дальше, в комнате, горел свет. Мы вошли и первое, что я увидел – это пустой стол, на котором стояла початая бутылка водки. Ни стаканов, ни закуски, как будто пили по-простому, из горла, как мужики в подворотне.

– Выпьем? – предложил Володька. Присосавшись к горлышку, он бесстрашно запрокинул бутылку и сделал глоток.

– Для храбрости... – пояснил он. – И чтобы хуй стоял. От водяры стоит лучше. Все говорят.

Я помотал головой. Пить мне не хотелось. К тому же в комнате было жарко, душно и от спертого воздуха меня начало мутить. Но волнение внутри не оставляло меня, я чувствовал, что сейчас может произойти что-то невероятное, страшное и манящее одновременно, хотел этого и хотел убежать и не мог себе это позволить, чтобы не упасть в глазах друга.

– Где баба-то? – тихо спросил я.

– Да вон она, – и Володька отдернул ситцевую шторку, которую я поначалу принял за белье на просушке.

За ней на старой тахте в постели лежала женщина. Она была голая. Она спала. Я не видел ее головы, уткнувшейся в подушку – только гладкую полноватую спину и круглый налитой зад. Трепеща от волнения и облизывая в миг пересохшие губы, не сразу я сообразил, что это соседка Люба, которую я помнил с тех пор, как стал ходить в школу, в один с Володькой класс. Я никогда не говорил с ней, разве что здоровался, сталкиваясь на лестничной площадке. Она работала продавщицей в продуктовом магазине, у нее был муж, дядя Витя, отбывавший срок за соучастие в какой-то краже, к которой он якобы не имел никакого отношения, и теперь она – это для соседей не было секретом – водила к себе мужиков и с ними пила. Ей было лет двадцать восемь-тридцать.

Разочарование мое было стремительным – не такой я представлял себе свою первую женщину. Но я не подал виду. Володька же, словно опытный искушитель, подошел к ней и похлопал ее ладонью по голому плечу:

– Теть Люб, спишь, что ли? Это я, Вовка.

Соседка не откликлась.

– Люб, это я, Вовка, сосед. Люб, просыпайся. Я друга привел. Дай ему – ты же обещала.

Люба спала или притворялась спящей – во всяком случае на Вовку никак не реагировала.

– Пьяная вдрабадан, – виновато шмыгнул носом Володька. Водка, видно, уже разобрала и его, и он без околичностей спустил штаны и трусы. Член его, еще не обретший взрослых размеров, которые так впечатляли нас в бане, тем не менее стоял высоко и без колебаний. Стреноженный упавшими на лодыжки штанами, Володька на полусогнутых ногах приподсел к Любиному задку и запустил указательный палец туда, где предполагалась ее промежность, и повертел им, внедряясь в глубину. Я услышал легкий чмок, будто от поцелуя, и Володька, вынув палец, торжественно продемонстрировал его мне. Палец был влажным и поблескивал.

– Во, мокрощелка! – одобрительно сказал он. – Вся в моей малафье. Ловко я в нее спустил. Смотри...

Он посунулся к Любе своей тощей смуглой задницей, прилепился бедрами к ее крупным сочным ягодицам, отливающим опаловой белизной, вставил куда-то, не было видно, куда, и задержался, точно так же, как это делали псы с сучками. Зрелище было оскорбительным для моих еще недавно столь романтических видений, оно унижало меня, и в то же время я не мог от него оторваться, дрожа от возбуждения. Что-то влажно чмокало, Володька подстанывал этим звукам, демонстрируя мне свое удовольствие, затем спустя минуты две-три он ойкнул, сделал несколько судорожных движений бедрами и победно обернулся ко мне:

– Видишь, еще раз спустил... Давай, иди сюда, твоя очередь... Не бойся, ей все равно.

С его покрасневшего мокрого конца, который теперь стоял не так высоко, действительно капало.

– Ну чо ты? Будешь? – спросил он меня.

Я хотел сказать «нет», но вместо этого, шагнул вперед, как зачарованный, глотнул из бутылки обжигающей горечи, которую, впрочем, пробовал не впервые, и оказался рядом с Любой, точнее – с ее ослепительным бесстыдным задом, который никак не отреагировал на Вовкино посягательство.

– Да повернись ты, – крикнул прямо на моих глазах возмужавший Володька и довольно бесцеремонно дернул Любу за плечо. Женщина послушно, словно ждала этого, откинулась на спину, но так и не проснулась, лишь поелозила ногами, выбирая удобную позу и затихла, когда левая ее нога, согнувшись, уперлась стопой в икру правой, будто в одной из поз хатха-йоги, о существовании которой я тогда еще ничего не знал. На спящем лице ее гуляла улыбка, лоно же было открыто, но меня прежде всего ударил по глазам вид вздыбленной темной кудели на ее лобке. Это поросль вовсе не походила на аккуратный треугольник между бедер на эротических то ли картинках, то ли отретушированных фотоснимках с игральных карт, который я и ассоциировал с лонем, – была какой-то бесстыдной, наглой и вызывающе-порочной. Мы вообще живем на поводу у зрительных образов, одними восхищаясь и брезгливо морщась от других, хотя нет ничего более обманчивого в этой жизни, чем впечатление глаз. Тогда я этого не знал, и мне показалось невозможным обладать женщиной с таким количеством волос на лобке, мятым кустом уходящих к промежности. Но потом я увидел ее груди – большие, осевшие под собственным весом и так и оставшиеся торчать вверх, увенчанные маленькими сосками на гладких розовых ореолах. Этот детский розовый цвет ореолов (только много лет спустя я узнал, что они так называются) подействовал на мое воображение совсем иначе, чем непристойный вид лобка и полуспрятанная в редущем книзу кустарнике женская срамота, которую я тоже увидел впервые в жизни, с огорчением отметив ее скорее пугающее, чем привлекательное начало, – да, совсем иначе, и не только на воображение, но и на мое естество, отчего в трусах моих стало тесно.

– Ну что, будешь ебаться? – спросил Володька, которому не терпелось бескорыстно разделить со мной свою мужскую удачу. Я кивнул и спустил брюки. Мне показалось нелепым и постыдным снимать их совсем, будто именно в их наличии заключалась моя принадлежность к мужскому полу, и так, слегка стесненный ими в движениях, я забрался на спящую Любу. Ее лица я теперь

почти не видел – только кончик носа и две черные дырочки ноздрей, скорее два черных треугольника размером, видимо с те, на карточных картинках, которые так легко, воздушно, нестрашно вводили меня в сладкий грех рукоблудия, – да, две дырочки ноздрей да пухлые красные губы, раскрывающие свою извилистую створку через равные промежутки времени, чтобы выпустить порцию перегара. Но еще были ее груди, те самые, возбудившие мое мальчишеское естество, крепкие и одновременно мягкие на ощупь, полные какой-то узнаваемой натальной неги, и я тут же стал инстинктивно мять их руками, словно из них мне, мальчику, теряющему невинность, рождающемуся мужчине, должно было брызнуть млеко тепла, добра и спасения в моем холодном, ожесточенном и не слишком сытом мире. Живот у Любы был мягкий и горячий, но еще горячее оказался ее срам, точнее – ее промежность, в которую я, не касаясь ее руками, словно боясь испачкаться, но необоримо, как под гипнозом, попытался ввести свой дрожащий от напряжения член. Я не сразу попал внутрь, потыкавший поначалу во влажные упруго сопротивляющиеся складки, и вдруг провалился в горячую купель. Ощущение было приятным и одновременно обескураживающим, поскольку какой-то молниеносной догадкой, которая осеняет в итоге пытливый ум исследователя, я понял, что это и есть цель моих чистых подростковых грез и грешных плотских поползновений...

«И это все?» – пронеслась в моей голове испуганная птица истины. А может, я выразил это иначе, например – «вот, что это такое!» или «вот, как это бывает», уверенно заменив знак вопроса восклицательным знаком. Не знаю. Или не помню. Помню, что было разочарование. Будто у меня отняли что-то очень важное и дорогое, может быть, навсегда, потому что с тех пор и начались мои попытки это что-то вернуть, попытки, продолжающиеся до сих пор – когда с большим, когда с меньшим успехом. Да, «и это все?» – пронеслось в моем слегка поплывшем от водки мозгу и я, вспомнив, как это делал Володька, стал двигаться, поднимая и опуская живот, чувствуя им щекочущий клубок волос на Любином лобке, а своим вибрирующим от напряжения естеством – горячую Любину хлябь. Я двигался под одобрительные возгласы Володьки, желавшего ко мне присоединиться, но явно не знавшего, как это сделать, и в то же время я спрашивал себя, зачем мне все это нужно, горько сожалея о своей потерянной девственности. Хотя, если понимать под нею ободковое сращение головки члена с крайней плотью, то девственность я потерял раньше – в результате активных мастурбаций, когда головка наконец вырвалась на волю; кровавые же пятнышки на местах отрыва давно зажили.

И тут произошло вот что. Когда я уже почувствовал зуд внизу живота, прекрасно зная, чем это кончается, Люба открыла глаза и стала смотреть на меня. С каждым моим толчком взгляд ее становился все осмысленнее, и вдруг она села, сбросив меня с себя:

– Ты што, малец, женилку точишь? А ну-ка брысь! Мамке скажу!

Голос ее прозвучал вполне внятно, как если бы она не очень-то была и пьяна. Да, успею я кончить, и, наверное, все было бы по другому... Но в тот момент гнев и ярость, каких я еще никогда не знал за собой прежде, оглушили меня, и я, униженный, отвергнутый, выброшенный из женского лона, достоинств которого еще не успел как следует оценить, вернее, к которому я только пришел на первый урок в первый класс школы любви для взрослых, я уперся ладонью в ее сытый подбородок, откинул ее обратно на подушку и снова погрузил свой член в негостеприимные, но сочные Любины хляби.

Солидарный Володька, видимо, возмущившийся не меньше меня (ведь мне было обещано!) вскочил Любе на плечи и зажал ей рот двумя руками. И вот я продолжал окунать свое естество в купель своей первой женщины, а она, мыча, тяжело водила бедрами из стороны в сторону, пытаясь упереться в простыню пяткой то одной, то другой ноги, чтобы в этой партерной позиции уйти от захвата противника, руками же силясь отодрать от губ пальцы Володьки и в нарушение всяких правил укусь его.

Когда ей это удавалось, я слышал ее дурной голос:

«Сопляки! В милицию вас... В тюрьму... За изнасилование... Караул!»

Да, мы уже не сомневались, что так оно и будет.

– Да заткни ты ее! – тяжело дыша, крикнул я, чувствуя, что сопротивление этого большого мягкого и сильного тела только возбуждает меня, меж тем как надвигающаяся истома грозовой тучей закрыла почти весь небосвод моего сознания, истома наслаждения, которое было сильнее всего, что я прежде испытывал, – это наслаждение через насилие охватило мое тело и погасило мой разум.

Володька схватил с тахты соседнюю подушку и, бросив ее на лицо Любы, сел сверху...

Кончал я под содрогания Любы и Володькин комментарий: «Ишь как ее разбирает, а не давала, бя...» Я тоже хотел так думать, но в ее судорогах мне почудился какой-то другой ритм, не совсем сопричастный моему, как будто кроме меня она отдавалась еще кому-то, не Вовке – нет, а кому-то сильному и матерому, прекрасно знающему, как ломать и уламывать. Это ему она покорила, когда вдруг все в ней неистово завибрировало, а потом обмякло.

Мы отпустили Любу и слезли с нее. Теперь она лежала, широко раскинув руки, подушка на голове, и не шевелилась, и все было таким, как прежде, когда она спала, только груди ее вроде стали еще больше и два маленьких розовых сосочка теперь потемнели и набухли.

– Дрыхнет! Видать, понравилось! – уверенно сказал Володька, еще раз отхлебнув из бутылки, которую он теперь протягивал мне, – пей... – И я послушно влил в себя еще один глоток. Теперь водка прошла легко и сняла с меня остатки гнева и напряжения.

– Ну что, Люб, отдохнула? – грубовато, как большой, сказал Володька, стаскивая с ее лица подушку. – Как тебя мой кореш Ан... – Он осекся и мое недоговоренное имя так и осталось повисшей в спертom воздухе маркой отечественного самолета. Лицо Любы было безжизненно, вытаращенные глаза бессмысленно смотрели в потолок.

– Тетя Люб, ты что это, очнись! – пробормотал Володька. – Что это с ней? – испуганно обернулся он ко мне.

– Обморок, что ли? – спросил я.

При обмороке, вспомнил я, бьют по щекам. Но это не помогло.

– Почему у нее глаза открыты? – прерывисто дыша, сказал Володька.

– Почем я знаю! – сказал я. – Принеси стакан воды, надо ее опрыскать. Может, еще придет в чувство.

Володька кивнул и опрометью бросился на кухню, как бы передав мне всю инициативу, и принес алюминиевую кружку с водой. Я брызнул водой на лицо, стараясь избежать страшного и пустого взгляда. Веки Любы не дрогнули, ни одна жилка в лице не шевельнулась. У меня же застучали зубы. Я вспомнил, что еще меряют пульс, но так его и не нашел.

– Сердце надо послушать... – глухо прозвучал рядом голос Вовки, однако сам он не проявил намерения это сделать.

Я прижал ухо к ее груди, грудь, такая живая, теплая, мне мешала, и я не знал, где слушать – ниже груди или выше...

В теле ее была тишина.

– Сдохла, что ли? – услышал я голос Вовки.

– Не знаю, – сказал я. – Надо скорую вызывать. Врача.

– Какую скорую! Телефон у почты. Пока туда добежишь... Люб, ты сдохла что ли? Отвечай! – Чуть не плача, Володька дергал Любу за руку. Рука ее была безжизненной и упала, когда Володька ее отпустил, упала именно так, как это показывают в кино, не желая показывать само лицо смерти.

И тут я вдруг осознал, что Люба действительно мертва.

– Все, – сказал я. – Поздно... Мы ее убили. Она задохнулась

– Кто убил? Я убил? – заверещал Володька. – Я ничего не делал. Это ты ее трахал, а я...

– А ты сидел на ней...

В голове у меня шумело, я плохо соображал, но чувствовал, что жизнь моя непоправимо переменялась, и что случившееся больше меня, больше моих возможностей его осознать, не то что справиться с ним...

– Надо милицию вызвать, – сказал я. – Неважно, кто убил. Все равно вместе отвечать придется.

– Ты что, охуел? – воскликнул Володька. – Какая милиция...

– Отвечать все равно придется...

– Что ты заладил – отвечать, отвечать... А кто нас видел? Где свидетели? Я вошел, а она лежит голая, вот как сейчас. Почему нам знать, что тут было, кто ее тут трахал, а потом задушил. Или она сама задохнулась. Следов-то нет. Может, сердце остановилось от водки. Перепила...

Я слышал Володьку и с каждым его словом (мысленно я уже развивал его версию) в меня входила надежда на благополучный исход. Оба эти состояния – катастрофы и спасения – пронеслись сквозь меня чуть ли не в одну минуту, и, не вполне поспевая за обоими, я то выпадал из реальности, то наоборот воспринимал ее четко и остро, в мельчайших подробностях. Наши роли чуть ли не переменялись – Володька, может, потому что его вина была весомей, теперь казался мне взрослее, опытнее, находчивее меня. Мы словно соревновались друг с другом за приз лучшего детектива, демонстрируя изыски изворотливого ума.

– Надо замести следы, – лихорадочно оглядываясь, сказал он. – Водка. Мы держались за бутылку.

В кармане у меня был носовой платок. Я вылил на него из горлышка водки и протер бутылку.

– Кружка, – вспомнил я.

Протерли и алюминиевую кружку.

– А на теле остаются отпечатки пальцев? – спросил Володька.

– Нет, только синяки, – сказал я.

– Да мы ее и не били, – посмотрел на меня Володька, перепроверя свои слова.

Я кивнул.

Да, наше спасение было именно в этом, в заметании следов, и я, хоть и был охвачен ужасом, вытаскивал из подсознания все новые варианты улик, которые мы должны были устранить. Я даже не ожидал, что способен на подобное – я мигом вспомнил все, что когда-либо читал из детективной литературы, и Конан-Дойля, и Агату Кристи, и отечественных писателей, на имена которых я не обращал внимания, я вспомнил все фильмы о расследовании убийств, все разговоры, которые когда-либо слышал на эту тему, соответствующие телепередачи и даже заметки в газетах и журналах, – короче, все, что я успел так или иначе узнать на эту тему за свои четырнадцать с небольшим лет. И я нравился себе в этом качестве, думая про себя, что вот, не потерял самообладание в такой критической ситуации, скорее наоборот – обрел его.

– Надо малафию убрать, – сказал я, – а то нас вычислят, по ДНК.

Володька не знал, что это такое, и мне нравилось, что я знаю больше его.

– Это гены такие, хромосомы, у каждого свои, – пояснил я.

– Так они ж там перемешались! – возразил Володька, хватаясь за это несомненное алиби.

– Все равно могут вычислить, – сказал я. – Ты правда кончал в нее или только делал вид?

– Какой вид? Два раза кончил, по честняку. А ты?

– Раз кончил.

– А как мы уберем малафью?

– Ваткой, – уверенно сказал я. – Надо накрутить ее на что-нибудь там, кисточку, карандаш или пинцет, и почистить внутри. В ней не должно быть нашей малафьи.

– Я не смогу, – сказал Володька, – я сблвну... У меня что не так – сразу блевонтин.

– Ладно, – усмехнулся я, считая, что побеждаю в нашем соревновании детективов. – Тащи вату. Только ничего не лапай. Лучше надень перчатки.

– Да я из дому... мигом. У мамки, вроде есть, – сказал Володька и исчез.

«Ручки дверей надо протереть», – подумал я, услышав стук закрываемой двери.

Володька действительно вернулся в перчатках и с комом ваты в полиэтиленовом пакете.

Не скажу, чтобы мне нравилось то, что я творю, но чувство смертельной опасности сделало меня небрезгливым. Я раздвинул Любины ноги, которые оказались довольно тяжелыми, и впервые увидел женское лоно во всей его беззащитной подробности. Оно не было ни красивым, ни страшным – неровная темно-розовая щель между двумя долями больших срамных губ, имеющий коричневатый оттенок возле устья, чахлая по сравнению с пучком на лобке поросль волосков, обрамляющих вход в лоно – все точь-в-точь, как в анатомическом атласе, по которому я буду позднее учиться... И, главное, в нем не было ничего сексуального, – просто какой-то большой диковатый цветок из тех, что растут в субтропиках, похожий на мухоловку...

С некоторой мукой, как когда, скажем, опрокидываешь в мусоросборник помойное ведро и пальцы тебе обрызгивает какой-то дрянью вылетающая из него упаковка, да, с некоторой мукой я раздвинул эту розоватую щель и ввел внутрь тампон, намотанный на карандаш и закрепленный для верности ниткой. Когда щель раскрылась, на меня дохнуло ее парниковым нутром и нашей с Володькой спермой, на запах которой я прежде почти не обращал внимание, в отличие от запаха собственной беловатой субстанции под названием смегма, которая прежде скапливалась по краю головки в складке прилегающей кожи и отдавала соленой рыбой, отчего я при каждой возможности, прежде чем помыть руки, мыл и там... Я погрузил тампон в раздавшуюся щель, которая на самом деле была даже не щелью, а упругой растягивающейся дырочкой, с гладкими стенками, вдоль которых я и стал водить тампоном, собирая наши с Володькой следы. Трудно сказать, что я при этом испытывал, – что-то сложное и противоречивое: помимо отторжения тут было и несомненное удовольствие, и если попытаться выразить причину или природу этого удовольствия, то она (причина), пожалуй, крылась в чувстве безграничного обладания, в чувстве власти и в чувстве превосходства, – я делал с женщиной нечто запретное, недопустимое, и делал это совершенно безнаказанно. Притом, что мне в подтверждение своей власти не хотелось, скажем, ущипнуть ее за ногу или живот, укусить за сосок или отрезать его на память... Нет, во мне не было ни каннибализма, ни вампиризма, а лишь своего рода удовольствие от обладания ее плотью, которая была беззащитна передо мной, и безропотно послушна. Вспомните, как дети играют во врача и больного, с каким наслаждением делают уколы своей неподвижной кукле или отрывают крылья у мухи. Ведь их еще никто не успел испортить и искутить. Это говорит в них дикое животное начало, имманентно присущее любому человеческому существу... Кант утверждал, что человеку изначально присущ нравственный закон, а я вам говорю, что человеку изначально присущ инстинкт насильника и палача. Казни на лобном месте были всегда любимым народным зрелищем. Смерть и секс всегда шли рука об руку. У тех, кого вешают, встает член и происходит выброс семени – петля на шее стимулирует расположенные там эрогенные зоны. То, что потом назовут садо-мазохизмом, есть альфа и омега нашего полового инстинкта. В соитии все

мы, пусть подсознательно, хотим убивать и быть убитыми. Но реально это может позволить себе лишь абсолютно свободный человек.

Тампон я вытащил скользким, волглым от нашей с Володькой спермы, и был он в своей липкой волглости похож на шляпку молоденького гриба под названием масленок и имел почти такой же грибной запах, резкий, но не тошнотворный, – острый запах сырой земли, оплодотворенный спорами жизни. Нам отвратительно только то, о чем мы привыкли думать как об отвратительном, в то время как новые ощущения, которые посылает, дарит нам жизнь, – они еще нами как бы не идентифицированы, и это от нас зависит, как мы их обозначим и назовем, а какие затем устойчивые ассоциации они будут у нас вызывать. Именно тогда у лона мертвой Любы, случайно задушенной нами, я испытал новое чувство, которое позднее не раз пытался определить для самого себя. Секс, переходящий в смерть, – вот как я его в итоге характеризовал. Неизбежная связь одного с другим. Оргазм как умирание для рождения вновь.

Володька заворуженно следил за моими действиями. Мне понадобилось три тампона, чтобы вычистить и осушить влагалище Любы. И еще кучу ваты, пропитанной водкой, мы перевели на то, чтобы протереть все предметы и поверхности, к которым мы могли случайно прикоснуться.

Все. Чуда не произошло. Люба не очнулась. Она действительно была мертва. Но паники больше не было. Я уже и сам понял, что уличить нас в содеянном будет трудно.

Мы закрыли за собой дверь в Любино жилище и вернулись к Вовке, но меня потянуло домой. Кураж прошел, и я чувствовал страшную слабость. Ни о каких тренировках в партере больше не могло быть и речи. А точнее – мне хотелось быть как можно дальше от этого места. Рано или поздно кто-то заглянет к Любе, и все обнаружится... А мы скажем, что ничего не знаем, не видели, не слышали. Но спросят ли нас?

Утром в школе я перво-наперво бросился к Володьке:

– Ну что?

– Ничего, – сказал он. – Тихо. Я проверял – лежит.

– Ты хоть в перчатках был?

– Само собой.

– И никого не было?

– Почему мне знать? Тихо.

– Кто-нибудь все равно зайдет.

– Пусть, – сказал Володька равнодушно. Похоже, страх перегорел в нем, и вся эта история перестала его интересовать – он жил сегодняшним днем, а сегодня он не сделал ничего такого, за что его можно было бы призвать к ответу и наказать.

На следующий день история повторилась. По наблюдениям Володьки к Любе никто не заходил, даже ее пьяные дружки – словно испарились. А может, кто и заходил, но предпочел по-тихому смотаться. В Любином магазине, куда мы с Володькой после школы молча наведались, было как всегда – никаких разговоров о ней.

– Вам что? – не очень приветливо спросила неизвестная нам продавщица.

Мы купили сто граммов карамели «Раковая шейка».

То, что знакомые Любины дружки хранили заговор молчания, снова, как это ни прискорбно, стягивало узел вины и ответственности на наших с Володькой шеях. По крайней мере, так мне мерещилось. Ведь кто-то должен был быть виноватым – если не они, то мы. Так далее не могло

продолжаться. Надо было что-то делать. Поскольку вызов милиции отпадал, оставалось одно – спрятать труп. Рано или поздно, кто-то все равно настучит в милицию, и тогда соседям не избежать допросов-вопросов, и не было никакой гарантии, что когда очередь дойдет до Володьки, он не расколется и не потащит за собой меня. Володька был моим сообщником. Он знал нашу тайну и вполне мог меня выдать, более того – переложить на меня всю вину. Я теперь зависел от него и должен был полагаться на его душевное равновесие, силу духа, умение молчать, искусство запереться. А я не мог рассчитывать на все это – в глубине души я считал Володьку трусливым, а потому опасным. Может, он никого еще в этой жизни не предал, но по складу своему он был предателем. Именно в те дни я перестал ему верить. Я стал бояться, что, спасая свою шкуру, он обязательно назовет меня. Я плохо спал, прислушивался к шуму за дверью, и мне все казалось, что за мной уже пришли... С каждым днем угроза разоблачения росла, катастрофа представлялась мне неминуемой.

И я убедил его, что мы должны избавиться от трупа. Я провел почти бессонную ночь, обдумывая план действий, голова моя работала четко, и варианты – один за другим – проходили сквозь нее кинематографической лентой, высвечивая наглядные картины на внутреннем экране моего сознания. На следующий день я посвятил Володьку в свой план. Труп Любы должен был исчезнуть вместе с ее паспортом, с какой-то ее одеждой, включая пальто: она вышла из дому, и больше ее не видели. Уехала куда-то. Вместе с одним из своих дружков. Пусть объявляют всесоюзный розыск. Бывает, людей по десять лет ищут... За это время я вырасту и исчезну навсегда из этой дыры... А скорее и искать не будут – уехала и уехала, мало ли что взбредет глупой бабе в голову. Снова вышла замуж, сменила фамилию, и живет себе как новый человек, с новыми паспортными данными... И убийцу искать не будут. Это глупости, что кто-то к ней заходил. Никого и не было. Никто ничего не знает. Нет трупа, нет и убийцы. Ее объявят во всесоюзный розыск и будут искать до конца наших дней...

Шли четвертые сутки после убийства. На эти четвертые сутки родители Володьки работали в вечернюю смену и возвращались за полночь – отец Володьки был водителем «КАМАЗа», а мать – диспетчером. В восемь вечера я, сказав матери, что сбегаю к Вовке за учебником, уже поднимался по скрипучим ступенькам на второй этаж злополучного дома. Нижняя, входная дверь у них давно была сломана – Любин муж высадил ее по пьянке, и теперь прохожие порой заглядывали в парадную по малой, а бывало, и большой нужде... Вечер выдался тихий темный глухой, с морозящим дождем – слышен был его шорох по железной кровле крыши. Лампочки на лестнице тоже давно не было, но в стекла лестничной клетки чуть падал уличный свет, и Любина дверь наверху, справа по площадке, темнела едва различимым пятном. Приблизив голову, я невольно прислушался – там было мертвенно тихо, мне же чудился сладковатый душок разлагающейся плоти и я представлял себе, как Люба лежит там, раздвинув ноги, с открытыми глазами, уставленными в потолок, а из ее влагища выползают черные жуки-трупоеды, точно как в одном американском фильме ужасов, который неведомыми путями попал в кинопрокат Кировска... Ужасы тамошней капиталистической действительности у нас всегда крутили охотно.

Володька открыл мне сам, без моего звонка – ждал у дверей...

– Ну, все готово? – шепотом спросил я.

Он кивнул, прикрыв глаза, будто не в силах произнести и слова. Готовность же заключалась в том, чтобы было, во что Любу завернуть и перевязать веревкой. Володька, похоже, нервничал не меньше меня.

– Андрюх, может, зря мы все это затеяли? Ну лежит там и лежит... Нас это не колышет.

– Не смей мои ботинки. Ты будешь первым на подозрении. Ты и твоя семья. Твой отец – может, на него первым и подумают. В предварилку посадят, замучают допросами. Тебе не жалко его? Знаешь, как у них! Не признаешься – измором возьмут, бить будут. Даже невинные себя оговаривают, лишь бы не пытали.

– Отец-то при чем?!

– А им все равно – при чем или нет. Они кого заподозрят, того и будут раскалывать.

– Отец был на работе, у него алиби, – сказал Володька, гордясь своим знанием иностранного слова, – мамка подтвердит. Они вместе...

– Прекрасно, – сказал я. – А у тебя есть алиби?

– На меня не подумают. Я еще маленький, – неуверенно хмыкнул Володька.

– Еще как подумают! – сказал я. – Им же надо на кого-то думать. У них ведь процент раскрываемости преступлений. Ради этого процента они на маму родную подумают.

Чем дольше я говорил, тем больше утверждался в своей правоте и логичности. Нет, я не мог допустить, чтобы цепочка дознания привела ко мне...

– Ну, есть, во что завернуть?

Володька кивнул в сторону. На стуле возле двери лежало покрывало, сшитое из лоскутков, неперменный атрибут деревенского уюта.

– У мамки стирал, из чулана, – пояснил он.

– Она не будет искать?

– Это старое, она уже новое сшила. Ничего, поищет и забудет, – сказал он.

– Лопаты где? – спросил я.

– Внизу, за дверью.

Володька действительно сделал все, что я ему велел. Мы вышли в коридор и я, не снимая перчаток, которые специально надел по такому случаю, потянул за ручку Любиной двери. Дверь не подалась. Она была заперта.

Меня мгновенно пронизало холодом. Кто здесь был? Кто ее закрыл?

– погоди, – нагнувшись, завожился у моих ног Володька. – Тут ключ под ковриком.

– Ты что ли закрыл? – переводя дыхание, спросил я.

– А то, – гордо сказал Володька. – Мамка ж к ней заходит. Хорошо, что они тут поссорились, не разговаривали. А то мамка заподозрила бы...

Так вот почему ничего не раскрылось до сих пор! Как же мне это не пришло в голову. Но почему Володька мне ничего не сказал? Его предприимчивость, не согласованная со мной, мне совсем не нравилась.

Ключ повернулся в замке, мы вошли и включили на кухне, где не было окна, свет.

– А в комнате опущена штора? – спросил я.

– Не бойсь... С улицы света не видно. Я проверял.

– Все равно лучше не включать, – сказал я. – На всякий случай. Если открыть дверь и так все видно.

Володька пожал плечами.

Я толкнул боком дверь и тихо, словно Люба могла меня услышать, вошел в комнату. Ее я не увидел – точнее, она была полностью накрыта простыней, обозначавшей только нос, груди и ступни. В комнате стоял трупный запах, не сильный, но явственный.

– Твоя работа? – спросил я, хотя мой вопрос не имел смысла.

– А что? – сказал он с вызовом. – Так покойников и держат. Я и глаза ей закрыл. А то ебу, а она смотрит.

– Ты ее еще ебал? – изумился я.

– А чо такого? Баба все-таки, хоть и мертвая. Только вчера не стал, уже подванивала маленько.

– Я же все вычистил, все улики... Теперь только тебя за яйца возьмут. Ты хоть понимаешь?

– Чо там понимать – все одно закопаем...

С логикой у Володьки были явные проблемы. Я ведь лишь вчера сказал ему, что надо избавиться от трупа. А до того... Володька был даже опасней мертвой Любы – просто идиот какой-то, извращенец, дурной, непредсказуемый... В тот миг я понял, что почти ничего не знаю про человеческую природу, и что все мои представления о добре и зле, о том, что хорошо и плохо, и о том, что можно и чего нельзя, подвергаются радикальному пересмотру. Но я, при всем моем изумлении, одновременно испытывал зависть или даже ревность. Не знаю, смог бы я вот так же, как Володька? Может, и смог бы. Просто жизнь потом больше не предоставила мне шанса попробовать.

Я проверил штору на окне – она, похоже, действительно не пропускала света. Мы расстелили возле тахты лоскутное покрывало, на которое собирались опустить Любу, но тут мне пришло в голову, что владельца лоскутного покрывала будет определить не так уж сложно. Володька со мной согласился. В конце концов мы решили завернуть Любу в простыню, на которой она лежала.

Труп ее оказался невероятно тяжелым – когда мы уже опускали тело на пол, углы простыни выскользнули у меня из руки, и голова Любы с тупым стуком ударилась об пол. Мы замерли – что если соседи снизу услышат... Но внизу было тихо. Мы завязали края простыни узлами – теперь из прорехи торчали только Любины груди. В эту прореху мы сунули ее сапоги, юбку, какую-то кофту, накрыв сверху синтетической курткой, снятой с вешалки, – эту куртку я видел на ней. Во внутренний карман куртки я положил ее паспорт, наручные часы. Я поискал ювелирные украшения – ведь если женщина уезжает из дому, она наверняка возьмет их с собой, но ничего не было – ни золота, ни серебра. Я с подозрением посмотрел на Володьку.

– Ну, взял, взял, – не выдержал он мой взгляд. – Это же деньги стоит. Реальные. А так менты придут и все возьмут. Знаю я.

– Где ты это держишь, дома?

– Нет, в надежном месте, – уклончиво отвечал Володька, будто опасаясь, что я потребую дележа.

– Смотри, на ерунде попадешься, – сказал я. – И меня потянешь.

– Не попадусь, – сказал Володька. – Пусть все отлежится. Потом продам. Много не дадут, но на велик хватит.

– Лучше верни. Помнишь – жадность фраера сгубила. Не я сказал.

– Какая жадность! Мне велик нужен. Год коплю, только двадцать рублей набрал. А на «Каму» нужно восемьдесят... Всего-то у нее кольцо обручальное и цепочка.

– Золотая? – спросил я, чувствуя, что мне жалко цепочки.

– Вроде того, – неохотно сказал он.

Чтобы из прорехи ничего не вывалилось, мы перевязали нашу тяжелую ношу бельевой веревкой и попробовали поднять. С трудом подняли и сразу опустили.

– Не донесем, – сказал Володька. – Что делать то?

– Ничего, волоком потащим, – сказал я.

– А по лестнице?

– И по лестнице, – сердито подтвердил я, представляя, с каким стуком будет отмечать каждую ступеньку Любина голова.

Дом этот имел два входа – один со стороны фасада для первого этажа, другой, Вовкин, – со стороны глухого торца. Тилом дом был обращен к старой грунтовой дороге, обычно почти пустой, вдоль которой военные недавно прокладывали кабель. Еще неделю назад кабель этот лежал на дне выложенной кирпичом отрытой канавы, глубиной метра полтора. Теперь она была засыпана, но земля не успела слежаться, и мы с Володькой рассчитывали легко отрыть могилу для Любы.

Эта канава была моей идеей. Во-первых, недалеко, во-вторых – никому не придет в голову там искать, тем более что военные обычно не возвращаются на старые места и штатских к своему имуществу не подпускают. В любом случае кабель лежит долго – лет двадцать, огромный срок. Кто будет искать убийц через двадцать лет? Я же был уверен, что в Кировске не задержусь – меня манил Питер, Васильевский остров, бабушка с дедушкой, с которыми я еще ни разу не виделся.

Заперев Любу, готовую для своего последнего пути, мы с Володькой крадучись спустились по скрипучей лестнице, взяли запасенные лопаты и, обогнув освещенный возле дома участок, пошли в темноте к дороге. Сразу за дорогой начиналась заболоченная низина, дальше – сопки, которые сейчас угадывались лишь по точкам света. Летом низина была вполне проходимой, там мы собирали клюкву и морошку, а на сопках было много грибов. Зимой мы там катались на лыжах.

Володькин дом светил в нашу сторону четырьмя окнами нижнего этажа и хотя нас наверняка не было видно, хотелось вжать голову в плечи и спрятаться. Однако тьма и так надежно укрывала нас, только в метрах ста ниже по дороге горела на телеграфном столбе одинокая лампочка, чудом уцелевшая, – все мы тут упражнялись в меткости, швыряя камни или стреляя из рогатки. Она слегка покачивалась от ветра, будто световой колокол во тьме, совпадая ритмом с ударами моего сердца.

Земля оказалась тяжелая, даже не земля, а глина, и ее комья не хотели сползать с лезвия лопаты. После глины пошел песок, а затем слой щебенки, и когда наконец мы добрались до кабеля, на часах уже было десять. Ясно, что дома мамаша устроит мне скандал, но об этом некогда было думать. Я промок насквозь от дождя и собственного пота – мне было жарко, а во рту сухо. Володька тяжело дышал рядом – ему было не лучше.

Бросив лопаты у канавы, мы вернулись домой. Люба лежала в своем свертке и терпеливо ждала, когда наконец мы предадим ее земле. Вряд ли ей нравился собственный запах. Ее душа находилась где-то рядом и, глядя на нас, укоризненно покачивала головой. Умершим, как и живым, надлежало соблюдать определенные правила.

Мы спустили труп по лестнице, и я на каждой ступеньке подставлял ногу в ботинке под голову Любы – чтобы ей не было больно. Дальше мы поволокли ее по мокрой траве и земле, и это оказалось легче, чем мы ожидали. Мы дотащили наш груз до края канавы и столкнули вниз. Люба со своим небогатым скарбом для загробной жизни упала на бок и не пыталась пошевелиться, чтобы лечь поудобнее. Скорее всего, эта поза ее устраивала – в ней она спала, когда мы вошли. Только тогда она была живой, а теперь вот мертвой. Оба ее состояния объединяла только поза. Мы не догадались положить рядом с ней еды, как то делали древние египтяне, отправляя своих усопших в потусторонний мир, но, с другой стороны, запах съестного мог привлечь голодных одичавших собак, которые стаями слонялись окрест, а нам лишнее внимание было ни к чему.

Да, жизнь у Любы определенно не задалась – муж в тюрьме, детей нет, кроме как принимать и отпускать товар, она больше ничего не умела. Жила бесцельно, бестолково, поддавала, любила сладкое, в карманах у нее всегда водились конфеты. Однажды, когда я, еще малец, взбегал по лестнице к Вовке, она, спускаясь навстречу, вдруг протянула одну мне:

– Хочешь?

– Хочу, – растерявшись, сказал я, забыв поблагодарить ее, как тому учат дома и в школе.

Что ж, лучше поздно, чем никогда:

– Спасибо, Люба.

Когда мы засыпали ее землей, я поднял голову и увидел, что окна в нижнем этаже Вовкиного дома погасли. Словно досмотрев этот спектакль.

7

Выверив маршрут, я включил двигатель, и яхта понеслась, рассекая волны. С северо-запада тянул устойчивый ветер, но волнение ослабло, качка уменьшилась, чему способствовали и прекрасные обводы «Ларисы», полог облаков распался и время от времени выглядывало солнце. Шеф уже был в каюте, где Макси постелила ему на кровати нашей греческой парочки свежее белье. О ее выходке разговоров не было, за исключением одной фразы.

«Макси нам больше не нужна», – сказал шеф и даже не посмотрел на меня, чтобы проверить, правильно ли я его понял.

Ветер дул мне в левую щеку, кидая из-за форштевня пригоршни мелких брызг. Моя одежда, пропитанная негативными эмоциями вчерашнего вечера, мешала мне, душила, но менять ее было некогда, и я просто стянул с себя футболку, джинсы, а затем и плавки. Струи прохлады – шел восьмой час утра – обдували мои чресла и то, что болталось между ними, мошонка от брызг сжималась в тугий мешочек, в котором клубились мне самому неясные позывы. «Макси нам больше не нужна» – звучал во мне голос шефа, и я пытался понять, что же произошло. Возможно, она рассказала ему о вчерашнем. Хотя вряд ли – просто ударила ниже пояса, когда этого делать нельзя.

Я летел, стоя нагишом на палубе моторной яхты за прозрачным ветровым щитком перед штурвалом, с развивающимися волосами, под ударами брызг, от которых каждый раз что-то во мне обмирало от невесомости...

Снизу раздался стук и на палубе выросла Макси. Я вопросительно посмотрел на нее.

– Шеф заснул, – пояснила она, делая вид, что не обращает внимания на мою наготу.

– И ты поспи, – сказал я.

– Ты же знаешь, что я днем не сплю.

– Но ты же ночью бодрствовала.

– Ничего, на берегу отосплюсь. Сколько нам осталось?

– Не знаю. Если все хорошо и нас не обнаружат, к вечеру доберемся... Ты хоть знаешь, куда мы плывем?

– Мне все равно, – сказала она. – Шеф сказал, что на Сардинию. Даже стыдно вслух произносить... Сардины какие-то.

Я хохотнул:

– Там великолепные курорты!

– Не знаю, не знаю, – скривилась Макси и, словно машинально, как это делала на нудистском пляже, стала стягивать с себя все, что было на ней, не заботясь о том, куда падают предметы ее верхней, а затем и нижней одежды – узкие ее трусики оказались слишком легкими и их вовсе сдуло за борт, но она и бровью не повела. Вместо этого она оглянулась через плечо на меня, чуть искусительно, исподлобья, но больше дружески, потянулась по кошачьи и, играя ягодицами, отправилась на нос яхты. Все-таки у нее была классная фигура! К тому же она была на редкость фотогенична. Всегда приятно было следить за сменой выражений на ее лице, казалось – будто читаешь книгу ее мыслей и настроений. Мимикой она напоминала прекрасную диснеевскую зверушку, впрочем, подходил ей чуть не весь набор диснеевских героинь. И глаза... Чуть сердитый взгляд больших, карих, по-беличьи раскосых глаз, в которых очень глубоко, на самом дне, таились тени далеких татаро-монгольских предков.

И вот такая девица продефилировала на нос круизной яхты и демонстративно улеглась там попой вверх, словно невзначай явив мне на миг свою ракушку, опущенную мелкой порослью, которая с двух сторон сбегала к бугорку лобка.

Я вел катер на приличной скорости – двадцать узлов в час, ветер дул мне в левую щеку, солнце, вовсе выпроставшееся из прохладных пушистых лап облаков, приплывших с Атлантики, пекло в правую, море было все в гребешках волн, которые методично поднимались и опускались, словно делая коллективную физзарядку. Когда нос яхты взлетал на волне, а потом, пролетев в пустоте, с хлопком опускался, поднимая два крыла сверкающих брызг, взлетали и ягодицы Макси, демонстрируя свое тождество с природой волны, водой и самой стихией моря, где была внешняя сторона – то, что величаво и самодостаточно открывалось взору, и внутренняя – то есть то, что скрывалось под поверхностью, там, в глубине, о чем можно было только догадываться... но что в общем-то изначально относилось к природе естества, а значит – было понятно.

Я чувствовал себя молодым зверем, вышедшим на охоту, нет – наоборот, я мчался прочь от охотников, устроивших облаву, – да, я удирал от кого-то и одновременно что-то догонял – судьбу, своротившую с магистрали, свое будущее, свою надежду на успех, свою волю жить так, как мне хотелось и нравилось, я гнал вперед, исправляя кривую недоразумения, которая занесла нас бог знает куда, омрачив нам будни, радость которых была почти неизвестна большинству моих несчастных соотечественников.

Помелькав ягодицами с четверть часа между небом и морем, Макси поднялась и падающей походкой, цепляясь за поручни, направилась ко мне. Я отметил, что она успела подровнять себе лобок, вчера более пышный. Она приближалась ко мне с недовольным лицом девочки-подростка, которой грубые хулиганистые мальчишки-волны не дали позагорать...

«Макси нам больше не нужна». Было ли мне ее жалко? Если да, то что? Я привык слушаться шефа. Раз он так решил, значит имел на это основания.

– Что, укачивает? – участливо спросил я.

Макси обошла меня полукругом, тронув пальцами за плечо – руки мои были на штурвале – и прижалась сзади. Ее ладони оказались на моей груди, а мой зад, как раз под копчиком, ощутил мшистость ее лобка. Она потерялась о меня и сказала, вернее, прошептала, подтянувшись к моему уху:

– Не прогонишь?

Я молчал, чувствуя, как оживает, топорщится мой член. Она это тоже почувствовала – правая ее рука, кончиками пальцев огладив рельеф моего живота, скользнула ниже и завладела моим растревоженным хозяйством, взяв его уверенно и плотно, прямо у основания.

В сущности, я мог повременить с приказом шефа. Сейчас или потом – это уже не имело значения.

– Кажется, здесь мне рады, – мурлыкнула Макси из-за моей спины и гибким неуловимым движением переместилась у меня подмышкой вперед и оказалась на корточках передо мной. Член

она так и не выпустила и он встал навтыжку, ожидая приказаний. Я не большой поклонник фелляции, и все же когда острый кончик языка Макси снизу отметил меня влажным отпечатком, я не возразил. Тогда обе ладони Макси переместились мне на ягодицы, которые у меня весьма чувствительны, и я услышал, как она сказала:

– Ух, какой он у тебя! Ну, можно?

Имей она хорошее образование, могла бы воплощать собой современный тип просвещенной куртизанки, пишущей там какую-нибудь заумь в стиле хайку или модный в нынешней живописи китч. Я ей не ответил, только оторвал левую руку от штурвала и положил на ее затылок. Макси тут же заловила губами мой плод и ее язык затрепетал.

Она оказалась большой искусницей – то чуть прикусывая зубами головку, то остро посасывая самый ее кончик, то захватывая губами член чуть ли не во всю его длину, хоть в нем было без малого двадцать сантиметров вожделения, готового пролиться через край. Возможно, это был оптический обман, и в действительности она завладевала только половиной того, что принадлежало мне, но ощущение было такое, что она вот-вот заглотит все целиком. Она ласкала мои гениталии, а я знал, что ее убью, и это возбуждало меня.

Мне не хотелось кончать ей в рот – это было бы слишком прозаично, но вдруг по прихоти фантазии я представил себе темные губы Талассы, негроидные, роскошно вылепленные и очерченные, с розовым вывертом, губы щедрые и сильные, с влажным блеском на смыке, где между мыском верхней губы и крайней точкой нижней читалась в профиль конфигурация дружеского поцелуя; но не только губы представил, а и свое естество возле, на нижней ее губе, которая, уступая, проминается посередке, верхняя же, вытянувшись вперед, накрывает его, а молодые зубы прихватывают для верности, – безболно, как это делают волчицы, перетаскивающие под одному новорожденных волчат. Я увидел перед собой Талассу, которая угождала мне, чтобы вымолить себе право на жизнь, и ненасытное воображение легко превратило меня в палача, сладострастно замершего перед своей новой жертвой. Еще никогда не вымаливали у меня право на жизнь взамен на фелляцию – пусть это будет Таласса. Наслаждение палача рвалось из меня наружу, и я не мог ему противостоять. Видимо, я перенял все это вместе с хромосомами моего неизвестного отца, изнасиловавшего мою мать. Пусть же это послужит мне, бастарду, выблядку, хоть косвенным оправданием на Страшном Суде. Сладость овладения пленницей обожгла меня изнутри так нежно и остро, что я взорвался. Мой выплеск ударил в нёбо Макси, – не успев прикрыть гортань языком, она издала рвотный звук и судорожно дернулась, чтобы высвободиться, но я схватил ее за уши и удерживал свой член в ее рту, пока не излил все до последней капли. Когда я наконец отпустил Макси, она, с закрытым ртом и надутыми щеками, давясь побежала к борту сплевывать мой дар. Но на ее лице не было отвращения или гадливости – энергетический жгут соития не обрывался, и пока она, как баклан, несла в зобе рыбок моего семени, пока отплевывалась и отхаркивалась, пока полоскала горло, бесцеремонно глотнув из бутылки с минеральной водой, стоявшей на приборном щитке по правую руку от меня, пока она, подрагивая грудями и ягодицами, в разных ракурсах демонстрировала мне свое собственное киноприложение к журналу «Плейбой», я захотел ее снова.

– Хватит плевать, – сказал я, следя за ее манипуляциями и разгораясь от ее вызывающей наготы, которую я видел в последний раз. – Зря ты разбрасываешься белками. Натуральный продукт, полезный во всех отношениях...

– От него толстеешь, – без тени юмора сказала она.

– Извини, – сказал я, – не знал, что ты на диете.

Вернув бутылку с минеральной на место, она хотела снова отправиться на нос, но, увидев, что я остался в боевой готовности, замешкалась и вопросительно глянула на меня.

– Видишь, – ты меня не удовлетворила, – сказал я. – Иди сюда. Теперь моя очередь.

Она подошла, выставив напоказ ухоженный газончик лобка и поиграла бедрами. Видимо, она решила, что в порядке обмена любезностями я собираюсь сделать ей куннилингус.

– Держи штурвал, – велел я ей, и когда она не без недоумения положила на него руки и повернула голову назад, глядя на меня через плечо, я взял ее за бедра, и слегка подтянул к себе. Она поняла меня – расставила ноги и выгнула спину. При этом зад ее принял совсем другую форму – расширился, раскрывшись посередке и из-под двух его сходящихся долей выглянули две подобные же дольки, только маленькие, – будто Творец-скульптор, доведя до идеала форму женского зада, не стал валандаться с самой интимной частью женского тела, и создал ее по тому же, но миниатюрному, лекалу. Вид этих долек, притемненных по сравнению со своими крупными сестрами, был восхитителен, на него же наслаивался другой вид – ее спины на переходе в бедра, то есть талии, поясицы, того участка тела, где уже кончились ребра, но еще не возник таз, и где верх и низ помимо позвоночника скреплены лишь гибким оплетьем хрящей, сухожилий и мышц, которым с помощью массажа и специальных нагрузок можно придавать изумительные очертания. Талия Макси при заданном изгибе оказалась невероятно узкой, ну, как у русской борзой, неправдоподобность этой ужины добавляла образу отдающейся сзади женщины дополнительные зоочерты каких-то неведомых животных, порождая флюиды, что объединяют миры и планы самых разных живых существ... Я без подготовки, без помощи руки прицелился в гладкую податливую щель лона и медленно-плавно, со скоростью возникновения смазки, выстилавшей мой путь, вполз, вошел внутрь.

Внутри был райский сад, цвели абрикосовые деревья и миндаль, а сливы уже созрели, сливы и виноград, и задетые мною, упруго возвращались на место, я срывал и подносил к губам гроздь, давил ягоды, и сок стекал у меня по подбородку на грудь и к пупку и дальше вниз, и во мне стоял сладкий зуд отдаленного оргазма, рокоток набухшего грозой небосвода, еще не обронившего ни одной капли на алчущую землю. Но это было лишь одно мгновение, ну, два-три мгновения, сладкого, невозможного, необоримого, всецелого, всеохватного растворения в стихии чувства, в среде, в воздухе, в море, в лоне женщины, что вместе создавало эту поразительную картину жизни, бытия, счастья, жизни в жизни, бытия в бытии, счастья в счастье, их флуктуацию, да, лишь несколько блаженных мгновений, – потому что далее мысль или воображение, то есть мозг отделился от парадиза чувства и стал существовать отдельно, наблюдая за ним, за чувством, не желая больше идентифицироваться с ним, поскольку должен был следовать непростым правилам соития, которые с неизбежностью возникают там, где ты не один, где вас как минимум двое... Итак, мое естество оставалось в лоне Макси, получая там свое собственное удовольствие, но я едва ли остался там вместе с ним, скорее, я уже был снаружи, и следил за происходящим как какой-нибудь точный прибор, отмечая приливы и отливы напряжения или само излучение, исходившее от него. Ибо чтобы остаться с сексуальным партнером, стать с ним как одно целое, нужна любовь или смерть – в противном случае наслаждение эстетически исключительным, индивидуальным, неповторимым смакуется лишь несколько секунд после начала контакта, а затем оно идентифицируется с десятками, сотнями других наслаждений, полученных ранее от других партнеров. Видимо, что-то подобное испытывала и Макси, потому что начала активно покачивать бедрами слева-направо, дабы увеличить площадь соприкосновения вагины с моим естеством и поддерживать угасающее возбуждение. Впрочем, я мог ошибаться – в сексе нам свойственно приписывать партнеру свои личные ощущения. Так, когда тебе жарко и хочется промочить горло, ты заодно протягиваешь питье тому, кто рядом.

Воображение мое отлетело еще дальше и увидело всю эту сцену со стороны – летящую по волнам белую моторную яхту, красотку, держащуюся за штурвал, – зад отклячен, ноги врозь – и загорелого мускулистого самца, пристроившегося к этому задку, его пальцы на крутых обводах женских бедер, попеременно переходящие на ее живот и заглядывавшие вниз, как бы пробуя консистенцию вожделения, определяющие градус чувства, дабы поддать давления или скорости возвратно-поступательных движений. И опять, как и в предыдущем случае, я почувствовал, что без дополнительной картинке мне не удастся кончить, и я вывел на свет Талассу, какой она была во второй раз – уже в черных облегающих шортах, таких тесных, что их промежуточный шов разделил ее промежность на две половинки, на правую и левую губки, которые были довольно спелы, коль скоро так хорошо читались под тканью. Таласса, Таласса, неведомая, с неизвестными запахами, неоткрытая земля, новое приключение. Да, когда секс без любви, он всегда привлекает себе на помощь последний запавший в память эротический образ и должен подпитываться сменой декораций.

Но вот Макси подо мной напряглась, задержалась и отчаянными вздохами дала мне понять, что кончает. Ее стенания (даже если она притворялась) сделали свое дело – я вообще люблю, когда женщины подо мной кричат, плачут, – и я почувствовал, как по темному тоннелю сладострастия вот-вот прогрехочет мой собственный состав. Тогда я торопливо вынул член, прижал к копчику Макси и, чуть подергавшись, стал кончать. Не знаю, зачем я так сделал – возможно, по инерции, по привычке не оставлять следов, дабы избежать лишних разборок на том свете... Несколько вязких капель – две крупных и с пяток небольших – описав дугу, оросили возле лопаток красивую, отливающую атласом спину Макси, попадая на нее как халцедоновые камешки. Я стер их ладонью, остаток размазал по лопаткам Макси и сказал:

– Свободна...

Не отпуская штурвала, она обернулась ко мне своим красивым лицом, и в глазах ее, еще полувидящих, еще устремленных вспять, вслед своему собственному оргазму, прочлась благодарность. Двумя руками я крепко стиснул ей горло, и, пока волок до кормы, она была еще жива.

8

Во второй раз я потерял невинность уже в армии. Мне было девятнадцать лет. Да, целых пять лет после тети Любы я не знал женщин. Я их боялся. Секс с женщиной напроць связался в моем сознании со смертью, и я боялся самого себя. Несколько случаев в моей ранней юности, когда после принятия спиртного я оказывался в постели с какой-нибудь девицей, лишь закрепили мой отрицательный опыт, – у меня не было эрекции. Думаю, попадись мне в ту пору опытная женщина – и все бы получилось, она бы нашла способ решить мои проблемы, которые были явно психологического свойства, но мне попадались только пигалицы, сами-то ничего не умеющие, разве что лишь широко раздвигать свои ляжки. Но мне нечем было взять то, что открывалось моему взору, и я не знал ничего про другие способы любовной игры. Собственное вставшее естество было по моим представлениям единственным подходящим любовным оружием. Пять лет мужского отчаяния и мужской несостоятельности самым пагубным образом отразились на мне – я никому не говорил о своей беде, стал замкнутым и молчаливым, я стал избегать женщин, хотя желание по-прежнему повелевало моей рукой, тянущейся к причинному месту чуть ли не каждый день. По сути я оставался девственником и слушая рассказы сверстников об их мужских подвигах, только укреплялся в мысли о своей ущербности и неполноценности. И поделом тебе! – в горькие минуты говорил я, закономерно выводя свою порчу из убийства тети Любы, воспоминание о котором превратило мою жизнь в отдаленный кошмар. Я называю его отдаленным, потому что на самом деле я редко вспоминал о ней и едва ли терзался угрызениями совести, – я давно уже сказал себе: что было, то было, и не о чем тут больше размышлять. Но другое дело – сны. Смерть тети Любы стала завсегдатаем моих снов – часто, очень часто мне снилось одно и то же, а именно – место, где мы ее зарыли. Место это, канава эта приобретала во снах самые разные образы – то какого-то подкопа, обнаруженного, когда снесли над ним деревянную кровлю, то сползающий под осенними дождями отвал земли возле какого-то рва, – вот-вот из песка покажется нога тети Любы в нелепом ботинке, и во сне я мучительно пытаюсь вспомнить, обули ли мы тетю Любу напоследок или нет, эти ботинки каким-то образом и являются уликой против меня, потому что они мои... То я осознавал во сне, что канава уже открыта, и что до разоблачения мне остался всего лишь один сон... Да, эти сны разворачивались как бесконечное продолжение, включая все новые и новые детали и подробности, но ни в одном из них тетя Люба так и не была обнаружена – только присыпанный свежим песком или палой осенней листвой участок, где рыхлая почва дышит захороненной в ней страшной тайной. Говорят, убийц тянет на место преступления. Это не про меня – с того самого осеннего вечера я ни разу не подходил к нашей канаве; может, именно поэтому она сама являлась в мои сны. Смерть тети Любы сделала меня если не полным импотентом, то параноиком. У меня возникла навязчивая идея, что если я буду с женщиной, то в момент оргазма она непременно умрет подо мной, потому что каким-то образом я ее убью... И я стал сторониться женщин, находя удовлетворение своим сексуальным потребностям лишь прежним мальчишеским способом. Обладать женщиной у меня получалось опять же лишь во снах, когда я просыпался от сладкой и мягкой боли поллюции.

...Людмила работала в библиотеке нашей воинской части. Была она на шесть лет старше меня, окончила Петрозаводский педагогический институт. А сюда попала, поскольку была женой командира моей роты, капитана Черных. К тому моменту я уже полгода прослужил в армии, но до библиотеки как-то ноги не доходили, хотя нельзя сказать, что я жил без книг. Нет, помимо всяких там уставов, у меня было что почитать. Например, у меня был карманный словарь иностранных слов, а еще – вовсе крошка – англо-русский словарь на семь тысяч слов и выражений, и когда мне, скажем, случалось стоять в наряде дневальным по роте, я не скучал: тайком открывая свои словари, я чувствовал себя интеллектуальным богачом. Я рассчитал, что если буду заучивать каждый день по десять слов, то за два года овладею английским. Еще у меня была книга, где были собраны всякие крылатые фразы самых умных представителей человечества, и с их помощью я, говоря словами поэта, полагал быстро стать с веком наравне. Я вообще любил выписывать из книг понравившиеся мне мысли, да и к самим книгам никогда не относился как к чтиву: меня не интересовали ни приключения, ни детективы – книги я читал исключительно для того, чтобы почерпнуть в них что-то поучительное, полезное для себя. Вооружившись простым карандашом, я отмечал нужные мне места – у меня была даже своя система оценок, включающая не только линии, но квадратики, треугольники и кружки, которые я дополнительно оснащал посерединке плюсами или минусами. Из-за этих знаков, которые я позабыл стереть на «Письмах о любви», и состоялся наш первый разговор.

Интересно, что когда я брал в библиотеке, куда наконец записался, этот четвертый том из пятнадцатитомного собрания сочинений Стендаля, я не обратил особого внимания на Людмилу. Может, потому, что был не один. После сдачи дежурства многие, свободные до ужина, предпочитали казарме читальный зал... Я запомнил скорее даже не ее, а темный бант на гладко зачесанных назад волосах – довольно странный образ, смесь чопорной учительницы с наивной гимназисткой и опытной куртизанкой.

Теперь я разглядел ее подробней – и сразу что-то почувствовал, какое-то тепло, исходящее от нее. Бант оказался в клеточку, точно из такого же материала, называемого шотландкой, как и ее строгое платье, сшитое по фигуре, так что нельзя было не отметить более чем явную выпуклость груди и красивый переход от узкой перепоясанной талии к крутым, в меру широким бедрам. Впрочем, ее бант в моей не обремененной тогда знаниями голове ассоциировался разве что с образом Мальвины из сказки про Буратино, той самой, что взялась его учить уж не помню чему – то ли уму разуму, то ли хорошим манерам, и таким образом, еще ничего не зная, что будет дальше и будет ли вообще, я подсознательно с самого начала и стал учеником Людмилы. По ее вольному выбору...

Когда я сдавал томик Стендаля, она профессиональным жестом библиотекаря пропустив на просмотр перед глазами веер страниц, вдруг остановила их шелестящий бег и повернувшись ко мне, показала страницу, пойманную большим пальцем правой руки:

– А это что такое?

Вся страница была в моих карандашных метках.

– Простите, – покраснев как вареный рак, сказал я, – забыл стереть. У вас не найдется резинки?

Я протянул руку к книге, но Людмила слегка отклонилась, загораживая книгу плечом и стала вслух читать – с тем выражением, с каким читают чужое письмо, чужое признание, желая вывести на чистую воду... Читала она лишь то, что я, глупый солдат первого года службы, подчеркнул мягким карандашом: «Нам доставляет удовольствие украшать тысячами совершенств женщину, в любви которой мы уверены»...

Я сделал попытку взять книгу, но Людмила, продемонстрировав хорошую реакцию, еще раз отклонилась, загораживаясь плечом – это было уже похоже на игру – и продолжала:

«В соляных копиях Зальцбурга, в заброшенные глубины этих копеек кидают ветку дерева, оголившуюся за зиму; два или три месяца спустя ее извлекают оттуда, покрытую блестящими кристаллами... – Людмила улыбочиво и поощрительно посмотрела на меня, словно извиняясь за

свое бесцеремонное женское любопытство, и снова уткнулась в книгу. – То, что я называю кристаллизацией, есть особая деятельность ума, которая из всего, с чем он сталкивается, извлекает открытие, что любимый предмет обладает новыми совершенствами...»

В голосе, которым она это читала, под неявной насмешкой скрывался явный ко мне интерес, будто это я сам написал, или будто я что-то из себя представлял и помимо Стендаля. Замолчав, она повернулась ко мне – я же так и стоял с протянутой к ней, точнее, к книге, рукой, настаивая на предложении стереть свои пометки.

– Тут и в самом деле много интересного, – сказала она, – я сама сотру, как прочту. Вы мне открыли Стендаля с новой стороны. Я кроме «Красного и черного» ничего и не читала. Я взяла себе за правило читать по одной книге каждого классика. А книг столько, что жизни не хватит...

Теперь она чуть ли не оправдывалась передо мной, отчего сделалась вдруг такой близкой, что я глянул прямо в ее глаза, которые, впрочем, она тут же отвела, напустив на себя официальный вид:

– Ваши имя, фамилия? Вы формуляр уже заполняли?

Когда я назвал свою роту, авторучка в ее руке замерла на миг.

– Значит, вы у капитана Черных, – строго посмотрела она на меня. – Между прочим, это мой муж.

– Здорово! – сфальшивил я, огорчившись сам не зная почему.

Так мы и познакомились.

Когда я шел к выходу, я чувствовал, что она смотрит мне вслед.

Женщин у нас в части было немного – разве что в канцелярии штаба да в медпункте. Доступной же для нормального общения была только она, Людмила, и раз в неделю я стал забегать в библиотеку. Роман «Красное и черное» Стендаля, который в тот раз она мне рекомендовала, показался мне слишком длинным и старомодным. Людмила живо меня выслушала, будто мое мнение было для нее важно, и хотя не согласилась с ним, но и не стала спорить и предложила мне «Госпожу Бовари» Флобера.

– Опять про любовь? – не без иронии спросил я, будто тема эта мало меня интересовала.

– Все лучшие в мире романы – про любовь, – сказала Людмила.

«Госпожа Бовари» понравилась мне гораздо больше, а описание ее смерти меня просто потрясло – ничего подобного прежде я не читал. Так я втянулся в романы, в которых были описаны человеческие страсти, с девятнадцатого века перешел в двадцатый и узнал таких новых для себя писателей как Хемингуэй, Фицджеральд, Фриш, Мюзе и наконец Габриэль Маркес с его романом «Сто лет одиночества», любовные сцены из которого стали для меня откровением, похожим на мои собственные эротические грезы. Благодаря этим авторам и стало меняться мое отношение к литературе – раньше я считал, что в литературе пишут о том, чего нет или что было, но так давно, что это уже никак не соотносится с нынешней жизнью, но теперь я все больше и больше стал замечать, что в литературе может идти речь и моих собственных чувствах и переживаниях, – мне даже стали попадаться в чужих текстах собственные мысли и убеждения, и я радовался, что дошел до них своим умом...

Так я и бегал всю зиму в библиотеку, и мы беседовали о прочитанном. Людмила обычно оставляла мне какую-нибудь литературную новинку, которыми были тогда полны наши журналы, – на лучшие из них у нее была подписка. Она всегда встречала меня улыбкой, была хоть и скромно, но обдуманно одета и любила вносить в свой наряд какую-нибудь деталь – ленту, брошку, заколку, или тот же знакомый бант. Все в ней было чисто и аккуратно и дышало

свежестью и порядком. Среднего роста, она была на полголовы ниже меня, и, признаюсь, с какого-то момента мне уже стоило труда не задерживать взгляд на ее стройных крепких формах... Впрочем, хотя она звала и меня на «ты», я иначе как на «вы» к ней не обращался, даже в мыслях, — она была моим старшим товарищем, собеседником, может быть, даже учительницей...

И вот накануне дня Победы, когда солнце уже перестало уходить за горизонт, а на северных склонах сопки еще оставались поля снега, и его привкус и холодок явственно узнавался в хрустально-прозрачном чистом воздухе, — да, именно в такой вечер почти перед закрытием я забежал в библиотеку к Людмиле. Она была одна.

В прошлый раз я попросил оставить для меня «Опыты» Мишеля Монтеня. Монтень почему-то вечно был выдан, хотя и оставалось загадкой, что могли почерпнуть у него морские пехотинцы. И вот теперь «Опыты» вернулись в библиотеку, и Людмила специально для меня отложила их на верхнюю полку, убрав с витрины, обычного места книг повышенного спроса, где тогда вне конкуренции были исторические романы Пикуля. Людмила пошла за Монтенем, а я остался перед библиотечной стойкой. Из радиоточки лилась какая-то красивая музыка... Потом, через несколько лет, я узнаю, что это из оперы Верди «Травиата» — ария Виолетты, умирающей от любви и разлуки, и эта мелодия навсегда свяжется с тем вечером в библиотеке, со светом низко вставшего над сопками солнца, падающем почти горизонтально в читальный зал, с Людмилой наконец... Вдруг я услышал из глубины помещения ее голос:

— Андрей, иди сюда, помоги мне!

Я пошел на звук голоса. Людмила стояла на табуретке и силилась вытащить за корешок томик, плотно зажатый между другими книгами...

— Подержи меня, а то я свалюсь, — сказала она, глянув на меня сверху.

Я замешкался, не зная, с какой стороны лучше подойти, и она, прочтя растерянность на моем лице, сказала почти повелительно:

— За талию возьми! Что, женщин никогда не обнимал?

«Никогда», — подумал я, сам удивившись этому, подошел спереди и неловко взял ее за талию.

— Крепче! — велела она, и я почувствовал, как под моими пальцами трепещут в усилии ее мышцы.

От Людмилы приятно пахло духами, шерстяной тканью ее платья, ее свежим крепким телом, и пока она вытягивала книгу, талия, словно пойманная, рвалась из моих рук — для меня же это была драгоценная ваза, которую мне поручили держать...

— Уф, вот она! — качнулась надо мной Людмила — в руках ее был заветный Монтень, в темно-зеленом колленкоре издательства «Академия».

Она посмотрела на меня сверху, очевидно, ожидая, что я отпущу ее, но я не отпускал, сам не зная почему, замороженный нашим растянувшимся во времени соприкосновением, а в кончиках моих пальцев продолжала звучать та красивая мелодия, которую передавали по радио. И вдруг Людмила опустила мне на макушку левую свободную руку, а правую, освободившуюся от Монтеня, — на мою шею возле затылка. Обе эти руки были как две птицы после долгого перелета, отдохавшие теперь на мне. Так мы и стояли, я — внизу, держа ее за талию, а она сверху, с положенными на меня руками. Я не понимал, что происходит, и почему на мне ее руки, но от их прикосновения все во мне пело, ликовало и болело, и слезы прикипали к глазам, и хотелось умереть, воскреснув следом для какой-то новой жизни, которую я ощущал в кончиках поющих пальцев.

— Так и будем стоять? — раздался надо мной голос Людмилы, прозвучавший не то с удивлением, не то с осуждением, не то с нежностью — казалось, он побуждал меня к каким-то действиям.

Немедленно убрав руки, я был готов извиниться – в конце концов в мыслях моих не было ничего дурного или злонамеренного, но, видимо, я не понял Людмилу.

– Подожди здесь, я сейчас! – наклонившись, обожгла она заговорщицким шепотом мое ухо, легко спрыгнула с табуретки и скрылась за стендом, красиво и вольно вильнув на развороте бедром. Все во мне обмерло и зазвенело от предчувствия чего-то невероятного. Далее были лишь звуки, последовательность которых могла только подтвердить мои самые смелые догадки, – я услышал, как провернулся в замке входной двери ключ, после чего Людмила снова возникла передо мной, но прошла мимо, уже в другую сторону, отметив меня прикосновением ладони, призывающей потерпеть... затем чутким ухом – все во мне вдруг стало чутким, острым, пронзительно восприимчивым – я уловил звяканье рукомойника и плеск воды... Я стоял, слушая эти звуки, а также отдаленный торопливый перебор людмилиных шагов, словно она спешила вернуться ко мне, приготовив все, что следовало приготовить, и я догадывался, что это может быть, и одновременно убеждал себя, что я ошибаюсь, что это мне просто мерещится, и что скорее всего сейчас она появится с фарфоровым чайничком в одной руке и двумя чашками в другой и скажет: «Хочешь чайку?». Как уже было не раз. И все же теперь все эти звуки и ее движения и вся та ее стремительная поспешность говорили совсем о другом, вполне определенном, и я верил и не верил в это предопределение, ждал и не ждал, смертельно боялся и был смел...

Наконец она появилась, и первое, что я отметил – это отсутствие банта, – ее русые волосы были распущены и падали на плечи широким вольным водопадом.

– Теперь ты! – сказала она. – Умывальник вон там. И полотенце...

Скрывая смущение, я соорудил гримасу, которая по моему разумению должна была означать, что я чист душой и телом, как агнец божий; пусть я знал, что перед ЭТИМ принято мыться, мне почему-то было стыдно признать перед ней, что я понимаю причину омовения, как если бы это принижало нас...

Когда я в подсобке мыл над тазиком свое причинное место, меня стало колотить от волнения. И еще от страха. Да, я боялся. Я боялся, что у меня ничего не получится. Слишком велик был перерыв – целых шесть лет. Одно дело – привычная рука, и совсем другое – женщина.

Я поднял глаза и увидел, что Людмила стоит в сумраке за дверью и наблюдает за мной. От неожиданности я уронил мыло и прикрыл пах руками, но Людмила решительно подошла и, подняв мыло, сказала:

– Можно, я сама?

Больше не спрашивая, она мягко оттолкнула мои руки, и я ощутил ее ловкие подвижные пальцы на своем естестве. На самом деле я ощутил не прикосновение ее пальцев, а что-то совсем иное. Что-то неземное, невесомое, звездное... Она была первой женщиной, которая трогала меня ТАМ...

Я закрыл глаза.

– Какой он у тебя красивый, – услышал я голос Людмилы, теплый, бархатный, – хочу его поцеловать... – И, еще не осознав услышанное, я ощутил короткие пронзительные прикосновения ее губ возле самого корня моего оформившегося желания.

Я стоял молча, с закрытыми глазами, и она что-то со мной делала; ощущения перетекали из одного в другое – от прохладной струи, от мыльной пены на трепетных щупальцах ее пальцев, от ее горячей слюны, обволакивающей головку моего естества, от проворного кончика ее языка, от ее острых, покусывающих поцелуев... И органичным пунктом этих ощущений был свет, восходящий у меня в затылке...

Естество мое в ее руках было преисполнено силой и мужской моей уверенностью. Потом Людмила потянула меня за собой, и тут же между стендами, в проходе, легла на спину. Она опустила обнаженными ягодицами на нижний подол платья, широко развела открытые колени и

привлекла меня к себе. Ее рука снова нашла мое мужское начало и, приподняв бедра, она поднесла к нему свое лоно, которое я теперь явственно ощущал – мне оставалось сделать лишь встречный толчок... И в следующее мгновение я вошел в Людмилу. Чувство нежности и ласки, и благодарности было таким сильным, щемящим и таким естественным, что я вдруг куда-то исчез, растворился, перестал существовать, как если бы за столько лет своей маэты обрел наконец место, где мне хорошо, где мне отвечали плавно, и горячо, и влажно, и ласково, не упуская никаких мелочей. Людмила словно вслушивалась в то, что делалось у меня внутри, и предугадывала все мои желания. Я целовал ее, ловил губами ее язык или уступал ей свой, одновременно ощущая внизу острые поцелуи, которыми обменивались наши гениталии. Ее лоно билось мне навстречу под разными углами, желая увеличить площадь наших соприкосновений, и еще были объятия, тесные объятия ног и рук, когда от близости перехватывало дыхание... В какой-то момент я поднял глаза и увидел, что груди Людмилы оголены – как это я мог забыть о них! – но она уже сама положила на них мои ладони, давая новое направление моей ласке. Освобожденные от лифчика груди были большие, красивые, плотные, с тугими сосками – я послушно стал гладить и нежно мять их, слыша тихие поощряющие стоны Людмилы. Но тут на самом краю моего наслаждения мне стало мерещиться что-то тревожное, нехорошее, почти забытое и вот теперь поднимающееся со дна медленной мутью. Мне показалось, что все это уже было со мной, и теперь повторяется, а дальше... дальше передо мною были груди тети Любы, и подо мною была не Людмила, а Люба... Я вздрогнул и остановился. Я лежал на Людмиле, конечно, на ней, но не мог сделать ни одного движения – меня словно парализовало. Как мужчина я перестал существовать – я чувствовал, как вывалилось мое опавшее естество, вытолкнутое тугими мышцами возбужденного людмилиного лона.

– Что случилось, Андрюша? – встревожено, как мать, приподнялась она. – Я что-то сделала не так?

Я не знал, куда деваться от стыда и отчаяния, а больше – от собственного позора. Поднявшись, но не поднимая глаз на Людмилу, еще сидящую на полу, я угрюмо спрятал то, что у меня осталось от прежнего мужчины, и сказал:

– Простите, я пойду...

– Постой, Андрей, – сказала Людмила, протягивая мне руку, чтобы я помог ей встать. – Постой, мой мальчик. Что случилось? Все было хорошо, ведь так? Что случилось? Скажи мне, я пойму. Я исправлю, если дело во мне.

– Ничего, – сказал я. – Ничего не случилось.

– Нет, скажи мне, что? Ведь все было хорошо...

– Ничего не случилось, – тупо повторил я, глядя мимо нее, в сторону. – Можно я пойду?

– Я тебе не понравилась?

Я не знал, что на это ответить – отчаяние разрывало мне грудь, и я только еще раз сказал, впервые отважившись посмотреть на Людмилу:

– Можно я пойду?

Лицо ее исказила гримаса, и из нежного, страстного, глубокого, исполненного любви и понимания оно вдруг стало бесконечно холодным и чужим, и я услышал ледяной голос Людмилы:

– Иди, тебя никто не держит. Вот ключ. Открой и иди. Прощай!

И я ушел.

На следующий день я был в карауле на складах. На плече у меня висел СКС – самозарядный карабин Симонова, довольно серьезная штука, и патроны к нему. Впрочем, мне нужен был всего один. Была безумная белая ночь, с солнцем, остававшимся прямо над сопками, на которые отсюда, со стороны складов открывался фантастический вид... Веяло весной, свежестью, холодком льда,

небо надо мной было расцвечено высоко обметавшими его серебристыми облачками, где-то я читал, что такие формируются уже в стратосфере, а ниже были другие облачка, перистые, но и они, видимо, простирались на разных высотах и оттого и окрашены были по-разному – в градации от фиолетового до золотого, что вместе с бездонной лазурью напоминало мне «Святую троицу» Андрея Рублева. Но теперь я смотрел на все это как бы со стороны, спокойно и прохладно, это было уже не мое, не для меня, я с этим простился, я просто искал подходящее место, чтобы поудобней сесть и наставить себе в рот дуло карабина... Я знал, что так покончил с жизнью мой любимый писатель Эрнест Хемингуэй, в романе которого «Прощай, оружие», поразившем меня, я находил много близкого. Я считал, что жизнь моя кончена, что с таким позором я не имею права жить дальше. Я-то мечтал стать сильным и мудрым, глубоким и человечным, но не сдал даже простого экзамена на мужскую зрелость. Мне было уже двадцать лет, а в роте я был единственным, кто не спал с женщинами. То, что было с Любой, я все эти годы старался выбросить из головы, напрочь забыть, но она напомнила о себе самым жестоким и беспощадным образом. Я понял так, что теперь она будет всегда являться, чтобы отнимать меня у женщины, которую я обнимаю... Это был приговор. Я знал, что подобные вещи надо лечить у психиатров. Но кому я мог сказать, что убил женщину в постели, и что с тех пор она преследует меня, и убийство так пока и не раскрыто. Неужели его надо было раскрыть, чтобы я стал нормальным?

Наконец я пристроился на вросшем в землю валуне возле склада, привалился плечами к стене и, сняв пилотку, откинул голову, упершись затылком в свежеструганную шершавую доску, отдающую сосновым смоляным духом... Мне было жалко себя и своей глупой загубленной жизни, но я не цеплялся за нее – я не хотел больше жить. Я был уродом. Приклад карабина упирался мне в сапог, левой рукой я придерживал его за ствол, а большой палец правой руки положил на спусковой крючок. Сталь ствола была кислая и очень твердая и мои нижние зубы скрипели под ней. Нет, не скрипели – скорее, стучали... «Боишься, тварь!» – злорадно подумал я про себя, словно нас было двое, и один другого наказывал, полагая, что останется жив. Я сжал дуло зубами и закрыл глаза. Мне оставалось только нажать на курок, когда я услышал неподалеку от себя тихие осторожные шажки, словно кто-то крался ко мне. В оторопи я открыл глаза и увидел перед собой дворовую собачку неопределенной породы, висающие уши вниз. Собачка стояла передо мной и повилиwała хвостом. Нелепо было стреляться в ее присутствии. Собачка не уходила, глядя на меня приветливо и просительно, и я догадался, что она учуяла хлеб у меня в кармане шинели, хлеб и кусковой сахар. Я вынул сверток и положил перед ней на землю. Все равно мне больше не понадобится. Собачка живо проглотила хлеб и довольно сноровисто расправилась с сахаром, будто это была сахарная косточка. Щечки ее топорщились от удовольствия. Покончив с едой, она снова завиляла хвостом, глядя на меня с тем же просительно-приветливым выражением.

– Иди, – сказал я, – у меня больше ничего нет. – Но собачка не ушла, а улеглась рядом, словно решила скоротать со мной время. Я протянул руку и стал ее гладить. Она повалилась на бок, открыв мне свой тощий в завитках шерсти сучий живот. И пока я ее гладил, мне расхотелось себя убивать.

Утром мне принесли телеграмму о смерти моей матери. Может, это она и приходила ко мне...

В библиотеку я больше не заглядывал и избегал случайных встреч с Людмилой. Раза два-три я видел, как она стоит на крыльце – утром, открывая библиотеку, вечером – закрывая ее, но я шел в колонне, строем, и вряд ли она меня могла разглядеть, даже если бы и хотела.

А осенью, в середине сентября, в теплые солнечные дни короткого бабьего лета, когда редкие стайки шуплых деревцов в южных закутах между сопками трепетали золотой листвой, я случайно столкнулся с Людмилой лицом к лицу в книжном магазине. С кипой бумажек в руке она выходила из подсобного помещения, а продавщица выносила следом высокую стопку книг, воткнувшись в них носом...

– Позвоню дежурному, чтоб газик прислал, – говорила Людмила, – где тут у вас... – и осеклась, увидев меня.

– Здравствуйте, – пробормотал я.

Людмила приветливо улыбнулась, словно наша встреча была ей в радость, и сказала продавщице, кивнув на меня:

– Вот и моя подмога. Вместе как-нибудь управимся. Ты ведь, поможешь мне, Андрей? – пристально и улыбочиво посмотрела она на меня.

Я тупо кивнул.

Продавщица увязала нам книги в три пачки. Одну взяла Людмила – я поднял остальные. Было немного досадно, что моя увольнительная кончится раньше положенного, однако когда мы вышли из магазина и я повернул в сторону воинской части, Людмила весело остановила меня:

– Куда? Нам в другую сторону...

Развернувшись, я молча пошел за ней...

– До части два километра, – усмехнулась Людмила, – да с грузом... Нет, я не согласна. Тут до моего дома всего один квартал. Зайдем, положим, – потом гуляй себе...

Да, было очевидно, что она рада встрече со мной и не очень пытается это скрыть. Признаться, я тоже был рад – и ничуть мне было не стыдно перед ней за тот свой мужской конфуз, – ощущение собственного позора изжилось во мне, и какой же непростительной глупостью было бы, если бы я тогда нажал на спусковой крючок. Страдания наши преходящи и условны, – открыл я для себя очевидную истину; то есть в других условиях над ними можно даже посмеяться, покрутив пальцем у виска... Есть жизнь, – стал понимать я, – и в ней одно познается и воспринимается через другое – горе через радость, боль через наслаждение. Если бы не было границ наших состояний, мы бы жили в одном сером однообразном бесчувствии. И это мое открытие означало ни что иное, как приятие жизни со всем, что в ней есть, какой бы она ни была. Потому что если бы не было плохого, исчезло бы и хорошее, – эти противоположности только и можно воспринять и распознать благодаря друг другу, как черное на белом и наоборот. Жизнь, чтобы ее ощутить и почувствовать, должна проходить в вечной смене разных состояний! Конечно, трудно примириться с неизбежностью плохого, отрицательного, тем более, что мы всеми правдами и неправдами стараемся его избегать, но на стратегическом, философском, мировоззренческом уровне я это отрицательное принял – и вокруг себя и в себе самом. Так что рядом с Людмилой шел теперь совсем другой я, и мне неистово хотелось поделиться с ней своими новыми мыслями и открытиями, тем более что прежде мы часто с ней говорили, что называется, «за жизнь».

Людмила была в приталенном осеннем пальто, не скрадывающим, а наоборот, подчеркивающим особенности ее фигуры – выпуклость груди, прямые плечи, узкий прямой стан, переходящей в крутой обвод бедер. Ведь я был между ними... и это было хорошо, разве мне не было хорошо? Под тонкой тканью пальто был обрисован и зад, – он взволновал меня, еще когда в дверях магазина я пропустил Людмилу вперед... Я вдруг вспомнил все подробности нашего прерванного соития и у меня защемило в средостении от нежности. Весь этот короткий переход от книжного магазина до ее дома я воспринимал как демонстрацию символов и намеков на то, что дальше между нами произойдет. Действительность сигнализировала мне о своих намерениях и проверяла мою готовность, мой тайный отклик. Во мне было только трепетание, радость, предчувствие того чудесного, что должно было произойти, и никакие посторонние мысли, сомнения, тревоги не мешали мне, не проникали в меня, отвергались моим широким, мощным предчувствием счастья. Я все знал заранее, я знал, что будет, и знал, что этому ничто не может помешать, потому что так сошлись звезды, и даже тот мой майский провал и конфуз тоже произошел по велению звезд, – ибо я должен был многое понять и от многого освободиться ради свидания со своей первой настоящей женщиной. То, что со мной произошло с весны по осень, следовало бы назвать чистилищем души. Так, по суги дела, оно и было.

Людмила с мужем жили в типовом домике – на два входа и две квартиры. Во дворе залаяла овчарка на цепи, соседская, как пояснила Людмила.

– Свои, Рекс, – сказала она, но пес продолжал на меня лаять. Для него я был явно не свой...

Мы вошли, опустили на пол в маленькой прихожей пачки с книгами и закрыли за собой дверь. Главное – было закрыть дверь и остаться наедине, потому что дальше, еще в прихожей, мы стали как безумные целоваться, и весь наш путь до постели – не помню, как и когда мы до нее добрались – был помечен какой-нибудь частью нашей одежды, начиная с моих сапог... словно некий мальчик-с-пальчик метил дорожку в светлую страну плотской любви, чтобы потом уже никогда не плутать в потемках... Я назвал любовь плотской намеренно, потому что такую ее не спутать ни с какой другой любовью, имей она еще хоть сто эпитетов. Я говорю лишь о том, что хорошо знаю, – о женском теле, отдающемся тебе, особенно в первую встречу, когда все чувства обострены, и кажется, что никогда не преодолеешь психологический барьер, когда почти умираешь, переходя из своего в чужое, которое в некое ослепительное мгновение становится твоим. Кажется, это Розанов писал, что Бог, сотворив тела мужчины и женщины прекрасными, лишь вчерне набросал проект их гениталий, оттого-то они выглядят пугающе и мало кому нравятся внешне, и что, де, только в их соединении, соитии и возникает целокупная красота. Не знаю, может быть, и так. Мне же красоту женского лона открыла Людмила – когда после всего, что случилось между нами, я лежал головой на ее бедре и влюбленно глядел на ее опушенное тонкими волосками чуть приоткрытое устье... иногда я благодарно пролизывал эти влажные розовые складки – и они вздрагивали под моим языком, и маленькие губки-лепестки, обрамляющие вход внутрь, чуть сокращались и распускались. Пальцы Людмилы лежали на моем причинном месте, и ей было достаточно легкого пожатия, чтобы оно начинало наполняться и привставать – и мы снова пускались в неистовый обмен нежностью и страстью. Я не помню, сколько раз это было в тот вечер. Может, шесть, может, восемь... Для меня было открытием, что этим можно заниматься долго, и повторять и начинать сначала... И это зависело как бы не от меня, а от Людмилы, от ее желания, – от веления ее пальцев или губ.

Она, похоже, была удивлена не меньше меня и тихо говорила:

– Такого еще никогда со мною не было. Слышишь? Никогда.

В тот вечер я не спрашивал ее ни о чем и не о чем не волновался. Мы были, как дети, у которых вместо совершенно неведомого и безразличного им будущего, есть полнота настоящего, что и делает детство самым счастливым временем жизни. Я даже не спросил, где ее муж и мой командир, капитан Черных...

Мы встречались раз в неделю у Людмилы в библиотеке. Уж не знаю, как ей удалось раздобыть матрас, который хранился теперь в подсобке, только на нем наша любовь стала гораздо комфортнее, – мы клали его между стеллажами... Происходило это в обеденный перерыв или вечером сразу после закрытия библиотеки. Проникнуть незамеченным или остаться здесь одному каждый раз было проблемой, – то я должен был «затеряться» до поры между стеллажами, то приходилось влезать с тыльной стороны в окно, которое Людмила оставляла для меня незакрытым. Больше нам не удавалось побыть вместе хотя бы час – чувство постоянной опасности теснило сердце, и постепенно мы привыкли к соитию стремительному, молчаливому, длящемуся минут десять, не более; при этом не однажды в дверь раздавался стук, или за окном возникала рука, дотянувшаяся до стекла, и барабанные в него пальцы могли свести с ума – неужели это он, капитан Черных? Однако я был готов к неожиданностям, и эти стуки не влияли на мою мужскую силу – они стали частью нашей любовной игры, напроць связанной с риском и угрозой разоблачения... Может быть, я в них даже нуждался, потому что, оказывается, любил экстрим. А эти занятия на плацу, где наша рота главе с капитаном Черных, грозно рыча, отрабатывала приемы рукопашной схватки, – сюда выходили окна библиотеки, и не раз я узнавал за стеклом силуэт Людмилы... Она следила за двумя своими мужчинами, словно сравнивая их...

Наш роман, пусть даже в такой форме, был почти невероятным для моей довольно суровой армейской действительности. Еще годы спустя мне снились наши тайные скоротечные свидания, даже не они, не Людмила, а этот путь к ней, полный препятствий, эти дуновения тревоги.

Лишь дважды еще нам удалось встретиться у Людмилы дома, когда у меня была увольнительная, а капитан Черных дежурил по части... Поначалу мне было непросто стоять перед

ним, смотреть ему в глаза – я готов был к наказанию. Но время шло, никто меня не разоблачал, и наказание откладывалось на неопределенный срок – я даже стал думать, что так оно и будет впредь, что я неуязвим, и Бог на моей стороне... Впрочем, иногда мне все же казалось, что Людмилин муж как-то слишком внимательно смотрит на меня, и что в его суровом, вечно озабоченном командирском взгляде есть нештатная информация обо мне...

Да, Людмила была на шесть лет старше меня, и это сказывалось на наших отношениях. Она была моей любовницей, любимой, возлюбленной, и в тоже время она была моей старшей сестрой и даже матерью, возвращая из сокровищницы нежности недоданную мне ласку. Людмила вообще была ласкушей, – казалось, для нее счастье все перетрогать, перепробовать языком... Я любил ее, любил как мужчина всем, что мне было дано, – я любил ее как мать, как сестру, как прекрасную женщину, отдающуюся мне... Пусть это была плотская любовь, но как это, оказывается, много... Я никогда не спрашивал ее о муже, об их семье, чтоб не задеть невзначай болевую точку ее тайны, ведь я догадывался, что если она сошлась со мной, то не от беспутства и разнузданной чувственности, а оттого, что в ее семье, в отношениях с мужем что-то было не так. Во всяком случае, я был уверен, что они не занимаются любовью, иначе она бы не набрасывалась на меня с такой жадностью, не была бы столь изобретательна и изощрена в минуты нашего торопливого блаженства, которое мы крали тут и там у грубой, почти бесчувственной реальности.

И только однажды в момент незащитности души, настежь открытой после очистительных судорог оргазма, Людмила вдруг сама сказала о муже:

– Уже семь лет вместе, а детей нет. Заставил меня проверяться – все нормально, я здорова... А сам только недавно проверился...

– И что? – спросил я, скорее машинально, – в тот миг мне было так отрадно и спокойно, что чужие человеческие проблемы для меня не существовали.

– А то, что детей и не будет. Врачи сказали, что у него сперма неактивная. Он ведь на Новой Земле служил, а там такая радиация...

И вот в декабре (опять в декабре!), когда наши с Людмилой отношения замкнули годовой круг, и могли бы быть отмечены годовым кольцом на стволе древа плотской любви, все оборвалось. Поначалу Людмила ссылалась то на недомогание, то на «красные дни», но однажды перед обеденным перерывом в библиотеке, кивком головы дав мне знать, чтобы я задержался, выпустила читателей и, закрыв дверь на ключ, объявила, что между нами все кончено, потому что она ждет ребенка. Выглядела она решительно.

Нелепость этих слов – «все кончено» была столь очевидна, что заслонила от моего разума другую нелепость – насчет беременности.

– Да, Андрей, все кончено. Больше мы с тобой не можем встречаться. Мне просто нельзя. Скоро я уеду отсюда, к маме в Тулу, здесь мало солнца, витаминов, а я хочу родить здорового ребенка. Да и муж настаивает.

Я молчал, не в силах осознать услышанное. Не так я представлял себе будущее. Весной я должен был демобилизоваться – я думал, Людмила поедет со мной. Из ее клятв и признаний в любви и ласк давно уже выковалась цепь, напрочь соединившая нас...

– Все, Андрей, я тебе все сказала. Теперь иди. Мне было хорошо с тобой. Прощай.

– Что значит «прощай»? – подал наконец я голос и по напрягшемуся лицу Людмилы понял, что она готова к разборке, продумала все варианты, хотя и надеялась обойтись минимумом слов и эмоций. – Я люблю тебя. А ты меня. Ты сама говорила.

Она положила мне руки на плечи и тихо, проникновенно и назидательно сказала:

– Андрюша, есть вещи посильнее любви. Постарайся это понять.

– Но это мой ребенок! – сказал я и вдруг услышал ее смех. Холодный, жесткий, агрессивный, почти издевательский. Она смотрела мне в лицо и смеялась. Она хотела быть сильной, сильнее меня, но на дне ее глаз я видел смятение. И я понял его причину. Она защищала своего будущего ребенка от меня. Она хотела передать право отцовства другому, и осознаваемое ею вероломство этого намерения не могло не оставить знака на ней, от природы открытой, честной и прямодушной.

– Ты же сама говорила, что он не может иметь детей!

В ответ на это она удовлетворенно закрыла глаза, словно услышала тот аргумент, на который у нее была домашняя заготовка, и, открыв их, четко и расчетливо произнесла:

– Глупости. Мой муж здоров. Его вылечили. Слышишь, Андрей? Его лечили и вылечили. Это его ребенок. Мне лучше знать, слышишь? Его и мой. А ты демобилизуешься, уедешь на гражданку и найдешь себе красивую девочку. Девочки табуном будут за тобой ходить. Не серди меня, Андрюша. Ты же умный, сильный, ты же настоящий мужчина. Прими, как есть...

Нет, я не смог это принять, как ни пытался. И ум вместе с силой тут ни при чем. Есть единственная вещь на земле, которую нельзя одолеть, которая даже сильнее любви, – это любовная страсть. Она оставалась во мне, и я не знал, куда ее деть. Она сжирала меня и мое здравомыслие. У самца отняли его любимую самку... И я решился на крайнюю меру. В помрачении любовной муки я попросил капитана Черных принять меня по личному вопросу и там, в его кабинете, один на один, все ему выложил, как на духу, – про себя и Людмилу. Расчет мой был прост – он откажется от нее.

Капитан Черных, статный, с широкими покатыми плечами тридцатилетний командир роты морских пехотинцев, обладатель черного пояса, неоднократный призер общевоинских соревнований по боевым единоборствам, о чем свидетельствовали красивые грамоты в рамках, висящие на стенах и изученные мною во время нарядов дневальным по роте, когда я до блеска натирал здесь полы, – Капитан Черных, молча выслушал меня и скомандовал: «Смирно!», а потом добавил – «кругом» и «шагом марш» по направлению к двери.

Я не выполнил ни одну из его команд. В кармане у меня была заточка. Я успел вынуть ее и выбросить вперед правую руку. Капитан Черных поймал ее возле своей украшенной боевыми регалиями груди, и, сделав шаг в сторону, вывернул мне кисть, отчего заточка, сверкнув, вонзилась в потолок. Больше я ничего не успел предпринять – он заломил мне руку и вызвал по громкоговорящей связи дежурного по роте.

На гауптвахте я провел три дня. Я был уверен, что меня ждет дисциплинарный батальон, и года два дополнительной службы, но приказом командира бригады меня строчным порядком откомандировали из Североморска в Архангельск в команду спортсменов Северо-Западного военного округа для подготовки к очередным соревнованиям... Больше я Людмилу не видел и никогда больше не слышал ни о ней, ни о ее муже капитане Черных. В конце мая я демобилизовался.

9

Мне всегда казалось, что полноценный секс интеллектуален. То есть, что у неинтеллектуального человека секс не может быть наслаждением. Да, сексуальные органы у нас в нижней части тела, но центр управления полетами все же в голове. Так вот, чтобы хорошо летать, надо иметь в голове штурмана или хотя бы авиадиспетчера. За редким исключением – это правило. Одним из таких исключений была моя жена Маша. Она точно была без крыши, к тому же ей искони был присущ роевой образ жизни, она не умела быть одна, то есть абсолютно. Она и сознанием обладала скорее коллективным, была неотъемлемой частью коллективного, ее мозг был всего лишь ячейкой в сотах, общее имя которым, видимо, семья. Она была лишь одним из органов этого роя, этой семьи, не маткой, конечно, несущей личинки, а рабочей пчелой, с рождения запрограммированной на движение туда-сюда, туда-сюда; она уносила из улья задание, а приносила на своих лапках запах нектара и шепот цветочной пыльцы. Она почти никогда не

хмурилась, не злилась, не помню, чтобы она плакала, – воплощенное добро, она была открыта добру мира, и если он ей ничего не отдавал в порядке взаимообмена, то она считала, что еще просто не заслужила, что ее время еще не пришло. Она считала, что все на этом свете, даже ласку мужчины, нужно заслужить. Да, я думаю, что у нее были не все дома. Своего рода паранойя добра, которое мне казалось, чрезмерным, кликушеским.

Люди проходят через страдания и муки, претерпевают зло, делают ошибки, идут на испытания, на самоуничтожение, дабы сделать хоть один шаг в области духовной работы над собой, надеясь обрести покой, не скажу – просветление, а моя деревенская из срединной России женушка была просветленной изначально. Это было ей дано, как другим дается поставленный от природы голос или абсолютный слух. Не за какие-то заслуги, а просто так, – по капризу Всевышнего. Не удивительно, что рано или поздно она должна была стать мне живым укором. Ведь я был обыкновенный человек, плохо воспитанный, даже слегка ожесточенный и потерпевший

В фигурке ее не было ничего особенного, – ну, мягкая и потому прилипчивая плоть, как бы намагничивающаяся от твоего желания, отнюдь не тонкая кость, ягодицы могли бы быть и покрепче, груди не идеальной формы – слишком заостренные, лоно тоже не без изъяна – одна малая губка была длиннее другой и несимметрично глядела из щелки между неожиданно пышными для ее комплекции большими губами, создавая впечатление легкой непристойности, утрированности, ну, как на эротических картинках в популярных календарях. Да, все так, и все же Маше в сексе не было равных. Во всяком случае, для меня. Притом, что сексом она занималась не как опытная шлюха, просвещенная гетера или искушенная куртизанка, – нет, секс был одним из способов общения со мной, был нашим диалогом.

Поза наездницы была у нее излюбленной, как у многих маленьких женщин, имеющих дело с крупным партнером, – эта поза давала ей полную свободу, и ее повторяющийся оргазм был скорее детищем ее собственных усилий, нежели моим произведением. Допускаю, что в момент восхождения на очередной пик чувства она не помнила обо мне, – что с того... Я испытывал наслаждение от ее молчаливых содроганий – ведь она все это получала от меня. Она была похожа на старательницу, разыскивающую золотую жилу своим взыскующе раскрытым устьем, на альпинистку, которой вечно не хватало какой-нибудь непокоренной вершины, и, едва передохнув, смахнув с глаз слезы плотского счастья, она принималась восходить на следующую, – их ей нужно было за вечер или ночь нашей любви не меньше пяти.

Странное сладкое чувство испытывал я, встречаясь с ней на улице, чтобы куда-нибудь вместе пойти, или в той же больнице, куда я забегал за ней, – да, сладкое чувство тайны при виде этой маленькой молодой малоприметной женщины, скорее девушки, с гладко убранными назад длинными волосами, открывающими опрокинутый полумесяц чистого лба, с мягкими русскими чертами лица, скорее крестьянского, чем городского, с этим невыветрившимся духом земли, почвы, заливных лугов, речушек и опушек леса, с этой внутренней улыбкой приветов всему окружающему, приветов и приятия, – при виде этой скромницы и тихони, маленького лугового цветка, простодушной ромашки, которая по ночам превращалась в роскошную орхидею...

Но эта вдохновенная отдача, это самозабвение, эта свобода, этот полет были у нее лишь на одре плотской любви. Это был ее тайный дар – во всем прочем она была вполне заурядна, нечестолюбива и скромна, не имела больших целей, довольствовалась своим социальным статусом, не хотела большего, не считала себя лучше других, а даже наоборот – и заботилась, заботилась, заботилась о близких.

Думаю, живи Маша в Петербурге, тогда Ленинграде, я бы от нее не ушел. За годы своей семейной московской жизни я так и не привык к Москве. Мне было там тесно, душно, суетно – столичная скорость меня удручала. Москва не давала подумать, помечтать, оглядеться – она непрерывно подталкивала в спину, как нетерпеливый пассажир у выхода из автобуса. Да, она меня хотела вытолкнуть на обочину – так я это понимаю. О беременности Маши я узнал, лишь когда она уже сделала аборт, да и об аборте узнал случайно – проговорила ее гостившая у нас сестра. Не знаю, хотел ли я тогда, чтобы у нас был ребенок, но то, что Маша, ничего мне не сказав, не поделившись, не посоветовавшись, пошла на такой шаг, во многом определило дальнейшее.

Безусловно, у нее были свои причины так решить, на неизбежность аборта была тысяча причин, начиная с той, что мы жили в общежитии. Но все же оттого, что она отправила мое отцовство в мусорный бак, что-то непоправимо надломилось во мне, будто как потенциальному отцу она поставила мне диагноз – неполноценный. Но мы еще год после этого прожили вместе. А потом я уехал в Питер.

А потом однажды вернулся. Это был абсолютно неожиданный для меня самого поступок, дурной, спонтанный, продиктованный минутной слабостью. Я сел в поезд и покатил в Москву. Я ехал назад. Я ехал за ней. Я ехал сказать, что без нее не могу, что мы муж и жена, и что мы должны жить вместе, и что у нас все получится, пусть только она будет со мной. Поезд был какой-то левый, дополнительный, и я приехал в Москву только поздно вечером и слегка нервничал, что она уже спит, и мечтал, что лягу с ней и мы будем любить друг друга, мечтал об этом истово, тем более, что у меня уже несколько месяцев не было женщины. А то я вдруг начинал думать, что, у нее, конечно же, опять кто-нибудь ночует из родни, и старался заглушить ненависть, подступающую к горлу. Ведь я ехал за тем, чтобы взять ее с собой в Питер, и для этого мне нужны были веские словесные аргументы, ибо ничем особенным я тогда похвастать не мог – в Питере работы, обеспечивающей жилье, не было, разве что дворником или стрелком в ВОХР – военизированной охране на складах.

Вечер был душный, летний, цвели липы – этот сладкий запах так и остался в памяти до сих пор. Оба окна в вестибюль общежития были открыты, и я по старой привычке пролез внутрь, миновав вертушку, чтобы не выяснять отношений с дежурным. У меня был ключ. Не знаю, зачем я взял его с собой в Питер – и вот теперь я сжимал его в руке, неслышно взлетая на шестой этаж, не воспользовавшись даже лифтом, чтобы не создавать лишнего шума. Наша комната была в конце коридора, слева. Я подкрался на цыпочках и замер у двери. За ней было тихо – только мое сердце сумасшедше стучало. Я вдруг обратил на это внимание. Чего я так волновался? Почему я был сам не свой? Все во мне кричало от боли. Вот... сейчас... С помощью занавесок у нас был сделан маленький предбанник – там мы держали продукты, там же стоял холодильник, урчавший по ночам, как проходящий внизу по проспекту троллейбус. Когда я тихо открыл дверь – это было первое, что я услышал. Потом я услышал тихое поскрипывание. Я отодвинул занавеску и в свете ночника увидел обнаженную Машину спину, а спустя несколько секунд, когда глаза привыкли к полутьме, и всю ее. Простоволосая, она сидела на ком-то и тихо двигалась туда-сюда, слегка выгибая спину вбок. Она не поднимала ягодиц, а елозила ими по тому, кто был под ней. Его я не видел, только тонкие ноги и узкие ступни. И еще я увидел руки того, кто был под ней, – худые руки, свисавшие к полу...

Я шагнул в комнату и сбросил ее с него. Он не успел крикнуть – я запихнул ему в рот край простыни. Он был совсем молоденький – лет восемнадцать и кого-то мне напоминал.

Затем я, не оборачиваясь, поймал ее правой рукой за волосы, и притянул обратно:

– Это что-то новенькое, – сказал я. – Продолжайте, я посмотрю.

Молча, как сомнабула, она рванулась от меня, но повисла на своих волосах, как на поводке. Я взял ее левой рукой за горло, чтобы не вздумала закричать. Она и не пыталась – ни крикнуть, ни освободиться. И страха в ее глазах не было – лишь унылая покорность.

– Продолжайте, – повторил я, держа ее на весу и удивляясь, что она оказывается такая легкая. Или это я такой сильный. Вот что она потеряла, променяла на какого-то сопляка. Не отпуская захвата, я бросил ее спиной ему на грудь и забрался сверху. Я отпустил ее волосы – хватало и горла, которое я продолжал сжимать, и правой рукой расстегнул ширинку и достал свой член. Он стоял. Он всегда стоял перед ней. Он ее любил даже больше, чем я. Я достал свой член и, просунув колено между ее ног, чтоб она не могла их сомкнуть, рывком вошел в нее. Я видел, как она, жена моя, узнала его, мгновенно покорившись его воле, но он был отдельно от меня, и если он теперь был счастлив, то все во мне разрывалось от дикой непереносимой боли. С каждым толчком, я сжимал ей горло все сильнее. Она не сопротивлялась, не пыталась меня укубить, поцарапать – ее руки болтались как плети. Я кончил быстро – при желании я это умел. И горла ее я так и не отпустил и чем больше я его сжимал, тем судорожней сжимало мой член ее влагалище,

будто все ущемленные моими железными пальцами связки и мышцы перекочевали туда, вниз, и нажатием на горло я мог управлять ими. Спустя минуту она умерла. Я перевернул ее лицом к любовнику, который, вытаращив глаза, в ужасе мычал сквозь простыню, придавленный нашими телами, и посадил на него, ноги врозь. Она повалилась головой ему на грудь. Волосы у нее были длинные, до колен и, разделив надвое, я обернул их вокруг ее шеи и с силой затянул, чтобы оставить на коже надлежащий след. Потом я вспомнил, что у нее есть шелковый платок, подаренный мною ей на день рождения и, скрутив его жгутом, задушил парнишку. Это был Федька, ее брат. Я его узнал, хоть и поздно.

В ту же ночь я уехал в Питер.

Потом меня нашли и вызвали в Москву, на опознание. По паспорту я оставался ее мужем. Версия у следствия была одна, она и попала в протокол, подсказанная японским фильмом «Империя чувств», который для многих из нас тогда оказался учебником эроса. Я и сам практиковал с Машей легкое удушье, усиливающее эрекцию. Меня беспокоило, что я кончил в нее, но, потом выяснилось, – беспокоило лишь меня одного.

На кафедре спортивной борьбы меня помнили, и один из моих препров, экс-чемпион СССР в полутяжелом весе, узнав, что я владею искусством массажа, направил меня к своему корешу, бывшему дзюдоисту, а теперь директору банно-прачечного треста. Так я стал штатным массажистом банно-оздоровительного комплекса на 5-й линии Васильевского острова. Шел восемьдесят пятый год, у власти был новый лидер – Горбачев, долдонивший про обновление социализма, человеческий фактор и какое-то ускорение, я же, как и все вокруг, был уверен, что ничего нового нам не грозит, и устраивался в никуда не спешащем банном секторе нашей экономики всерьез и надолго. До Чернобыля, с которого и началась новейшая история моей несчастной страны, привычно пробуксовывавшей на всех исторических рубежах, оставалось чуть больше года.

Сначала я работал в мужском отделении, а потом перешел в женское, где клиентов, а значит и денег, было больше. Мужчине обычно не до того, он занят более важными делами и на себя начинает обращать внимание, только если у него что-то болит. К тому же у нас никогда не было, да и сейчас нет, культуры ухода за собственным телом. Мы в этом смысле недалеко ушли от варваров. Если русский мужик и хочет оттянуться, то никак не на массажном столе, а скорее в подворотне со своими собутыльниками, сауна – это предел его претензий на телесный комфорт. Женщины же более прихотливы и продвинуты, и к тактильным ощущениям испытывают известную слабость. В массаже женщины, даже сами того не осознавая, ищут сексуальных ощущений, которых им не хватает по жизни. Не знаю, сколько женщин прошло через мои руки, не считал, но иногда меня занимает мысль, что мой волевой персональный импульс так или иначе продолжается в них, ну как если бы это был сперматозоид, оплодотворивший яйцеклетку, – ведь каждой из них я отдал толику собственной энергии.

Приходили ко мне в основном толстые и некрасивые – это потом, когда как по мановению волшебной палочки в руке феи по имени «Приватизация» появились новые русские, клиентами массажистов стали в основном красивые молодые бабы, борзющие от собственного в считанные дни нажитого богатства, наглые, презирающие всех, у кого нет норковой шубы и «мерседеса». От российской аристократии с ее хотя бы показным уважением к бедным и неимущим в стране не осталось и следа, образцы пусть даже фарисейского милосердия и человечности не ужились с советской властью, поэтому психология и поведенческие модели наших нуворишей формировались стихийно, дремуче, по архетипам из пьес какого-нибудь там Островского... Вот тот самый купчина из казалось бы забытых социальных анналов российской помойки и был с поразительной схожестью воспроизведен в наши дни. Перестройка, как назвал ее Горби, по сути оказалась лишь перетряской, – в России невозможно построить ничего нового, разве что вытащить из исторической свалки что-нибудь забытое, какой-нибудь мало-мальски приличный кусок прошлого, когда верхам удавалось на время усыпить низы, ну, скажем в ту же короткую эпоху реформ Александр а I или Александр а II... Так что даже сравнительно новые типы, не

выступавшие прежде на театральных подмостках нашей российской действительности – к таким, скажем, принадлежал и мой шеф – напоминали мне того же Штольца из романа «Обломов».

Итак, я работал массажистом и поскольку считал, что это навсегда, то тщательно изучал все, что относилось к этому древнейшему искусству мануальной терапии. Я читал подпольные книги и ходил на подпольные занятия по восточной медицине, даже английский мой стал крепнуть, поскольку большая часть литературы, нужной мне, была именно на этом языке. Что-то на русском было напечатано и в России до начала двадцатых годов или почему-то в Риге, до нашей оккупации в тридцать девятом... Так и началось мое знакомство с Блавацкой и Еленой Рерих, с агни-йогой, дзэн-буддизмом и китайским лечебным цигуном. Из всех этих абсолютно для меня новых, хотя и отрывочных сведений, я вынес главное: человек не одинок и он бессмертен. Оказалось, что помимо этого, воспринимаемого нами мира, есть другие, невидимые, миры, они не подотчетны нашим органам чувств, но не менее реальны, чем тот, в котором, по нашему представлению, мы живем. Более того – есть возможность войти в эти миры, будь только на то истовое наше желание. А вообще – каждый из нас способен на многое, и если в Священном писании сказано, что человек богоподобен, то таковым он и может стать, надо только отринуть то, что делает его рабом: сумму ложных идей и представлений, навязанных ему теми, кто не хочет, чтобы он, человек, был свободен, смел, высок, силен и послушен только высшему разуму, а не власти предрержащим. Понятно, что такой человек никому на земле не нужен, что он даже опасен – смутьян, нарушитель общественных устоев. Устои – вот за что цепляются те, кто на этих намертво вбитых в землю сваях построил свой жалкий домишко. Крыша течет, пол прогнил, вдоль разошедшихся стен гуляют сквозняки, но человеку боязно выйти, боязно ступить на твердую почву и отправиться на поиски другого пристанища, где будет хорошо.

Вот из каких посылок складывалось тогда мое новое мировоззрение. Так и не став лучшим, чемпионом в физическом противоборстве, я решил стать чемпионом духа, решил обрести духовные мускулы, которые позволили бы мне подняться над этим грешным временем, которые научили бы меня летать. Оказалось, что для этого надо было изучить свое тело и сделать его совершенным. Совершенство заключалось в том, чтобы его чакры, все шесть или семь его энергетических центров, функционировали чисто и ровно, принимая и выделяя необходимую энергию, благодаря чему сознание непрерывно расширялось бы, позволяя совершать путешествие в те миры, которые простому смертному недоступны. А о том, что они существуют, говорили мне не только фантастические способности экстрасенсов, ну, скажем, той же Джуны, лечившей Брежнева, или болгарки Ванги, умевшей считывать всю информацию о человеке, о его прошлом и будущем, о его родственниках и болезнях, о тех, кто умер вокруг него или даже еще не родился, с кусочка сахара, который она просила положить под подушку перед сном накануне предстоящей встречи, – не только они, но и мои собственные рабочие опыты, которые я проделывал со своими знакомыми. Скажем, я научился внушать одной своей подруге визуальные образы типа простых пиктограмм, и она из десяти стабильно угадывала шесть-семь, – блестящий результат, не правда ли? Она сидела в своей квартире в Ульянке за несколько десятков километров от меня, жившем на Васильевском, и у меня не было ни малейшего резона мухлевать, ведь обмануть я мог только самого себя... Значит, рассуждал я, окрыленный своими опытами, действительно существуют совсем другие, неизвестные науке измерения, информационные каналы, еще неуловленные энергетические поля, которые пока называют биополями, и всякие там рамки и маятники, на них реагирующие, – это не бред сумасшедшего, а инструменты, с помощью которых мы контактируем с другими реальностями, пока не нашими, но уже готовыми откликнуться на наш запрос.

Человеческое тело постепенно раскрывалось передо мной, как физическая карта мира, через него проходили меридианы, и на каждом из них были десятки точек, воздействуя на которые, можно было управлять его внутренними процессами. Тут были точки, отвечающие за работу абсолютно всех органов, точки, чтобы возбудить или наоборот – расслабить, каждый палец нес в себе совершенно уникальную информацию о нашем организме, и отсюда, прямо с кисти, с ладони можно было посылать нашим внутренним органам самые разные команды... А точки на лице... А мудры – определенным образом сложенные пальцы, вызывающие то или иное состояние организма, их можно увидеть у святых на древних иконах, что свидетельствует о корнях христианства, обрубленных потом ревнивыми и самовластными отцами церкви... И вправду, мудры были придуманы мудрыми людьми, задолго до нашей эры досконально изучившими наш организм и убежденными как в его самодостаточности, так и в его безграничных возможностях...

Тело человека стало представляться мне музыкальным инструментом, на котором можно было сыграть любую мелодию. Однако человек больше всего нуждался в гармонии, в установлении равновесия между верхом и низом, головой и чреслами, между левым и правым, тогда как на самом деле у него всегда преобладало что-то одно, создавая дискомфорт в угнетенной части. Гармоничный, он гораздо меньше был бы подвержен депрессии и стрессам, болезням и напастьм, ведь только больное притягивает больное, а человек, излучающий положительное начало, положительно настроенный на контакт с Высшим разумом, который есть абсолютное добро, такой человек проживает в счастье и радости, и обычные беды, сопричастные обычной жизни, обходят его стороной.

В своем отношении к человеческому телу на массажном столе я прошел несколько стадий. Поначалу это было неприятие чужого. Я преодолевал это свое отторжение не без труда, но преодолевал, памятуя о том, что и меня ведь, чужого, когда-то массировали руки, чтобы вернуть к полноценной жизни. Да, тела подавляющего большинства моих соотечественников представлялись мне отвратительными. У каждого что-нибудь было не так – корявые ступни, острые колени, впалая или наоборот – птичья – грудь, дряблые мышцы, серая прыщавая кожа... Женщины ко мне приходили тогда в основном с комплексом тучности – массировать эти груды жира было почти невозможно, под жиром почти не прощупывалась мышечная ткань... А запах... – нездоровые эти, неправильно созданные тела, будто сама природа была плохой ученицей на уроках Творца и выполняла задания лишь на одни тройки, – эти нездоровые, неправильные тела мерзко пахли, и человечество, по крайней мере в той части, которую я относил к моим соотечественникам, представлялось мне больным и неспособным к выживанию и самосовершенствованию, – скорее наоборот, человечество, несмотря на заявки научно-технического прогресса, представлялось мне вымирающей частью общей природы. Но не просто вымирающей – оно представлялось мне раковой опухолью, разъедающей тело Земли, чтобы рано или поздно обрести общий с Землей конец. Одно время мне казалось, что План Бога не оправдался, что человек, его главный проект, имеет серьезнейшие конструкторские изъяны и потому обречен на гибель. В этом смысле был период, когда я рассматривал свою работу как противную воле и намерению Бога и свои неудачи приписывал его недовольству мною.

Не помню, кто из великих сказал: «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать». Но ведь так оно и произошло, и Бог был создан по нашему образу и подобию. Его вылепили, вырезали, нарисовали и поместили в дом, для него построенный. И Бог – это ни что иное, как наше собственное высшее начало, выношенное, выпестованное в горниле наших неудовлетворенных страстей и желаний, – его мы и поставили над своим собственным низшим началом, дабы спасти и сохранить самое себя. Надо сказать, что я никогда не был шибко верующим, да и христианином, собственно, не был. Я не был крещен, я не ходил на молебны в церковь, я склонялся скорее к буддизму или конфуцианству, но некое Высшее начало над собой все же признавал, иначе бы мне пришлось объявить себя центром мира и поступать соответственно – скажем, впасть в субъективный идеализм и считать все вокруг лишь проекцией твоего собственного сознания: какое, де, нам дело до того, что существует помимо нас, если мы в нем все равно не живем... Перестают же петь домашние птицы, стоит только накрыть клетку. Так, выключив сознание, мы выключаем мир. Умираю я – умирает и мир вместе со мной, и мне плевать на то, что он существовал до меня и будет существовать после, ведь истинная реальность – это только мой временной промежуток в мире, моя неповторимая жизнь, а все остальное – это лишь кладбище мифов и артефактов. И вот, не без усилий преодолев свой солипсизм, я вынужден был признать Высшее начало над собой, то есть Бога, и передоверить ему этот уже не мной творимый мир, вместе с ответственностью за все, что происходит в нем, ибо если бы я оставался его центром, эту ответственность пришлось бы нести мне. Признание Бога над собой было выходом из морального тупика. И все же иногда мне казалось, что Бог это лишь юридическая уловка человеческого сознания, попытка переваливать все с больной головы на здоровую. Разве человек не сам отвечает за свой грех? Разве это правильно, что Бог-сын берет на себя все грехи человеческие? Да и по силам ли это Богу? Практика показывает – что нет. Богу трудно, – размышлял я в такие минуты, – мы должны ему помогать. А то я вдруг начинал сомневаться в Боге – как странно он повел себя с самого начала в случае с тем же первородным грехом. Разве не он сам наделил наших ветхозаветных прародителей разнополой морфологией со всеми вытекающими отсюда

последствиями. В таком случае как можно было изгонять за это из Рая? И не расплачиваемся ли мы до сих пор за эту его фатальную ошибку?

Нет, на такие глупости был бы способен лишь понятный мне, антропоморфный Бог, реальный же Творец должен был иметь внечеловеческое начало, природа его была непознаваема, да и едва ли она имела к нему хоть какое-то отношение. Что-то другое было над нами и нами же придуманным Богом – некие силы, которые и правили космический бал.

Вначале было Слово, говорит Священное писание, и все вроде с этим согласны, хотя мне лично кажется, что там написано: вначале была воля. Слово же было лишь морфологической формой воли, звуковым ее знаком. А если еще глубже, то Намерение-План-Воля – вот что на самом деле стояло вначале. Да, именно намерение, а то, что в Писании говорится про дух, носящийся над темной водой, следует понимать, как период исканий и сомнений Высшего разума, разрабатывающего план действий, чтобы потом волевым путем претворить его в жизнь. Все это было, конечно же, не недельным актом, а довольно долгим континуумом творческого горения, когда одно за другим просматривались и примерялись самые разные схемы и чертежи. Человек рождается в муках – в муках рождался и план. Гармония – это преодоление хаоса. Конструктивное – это преодоление инертного, и тут требуется энергия: часть ее уходит на то, чтобы сдвинуться с места, а оставшаяся часть, вырвавшись наконец в стихию света, усиливается, замыкаясь на мировую энергию, которая подпитывает все, что есть осмысленная форма. Мировая энергия, содержащая волевой импульс, и является морфологическим признаком Творца. Однако его первопричина от меня ускользает и, поняв, что это мне не по уму, я могу лишь повторить хорошо известное: «Все действительное разумно, все разумное действительно». Но я-то сам этому, пожалуй, не верю. Только и ясно мне, что над нами как бы два бога – как солнце и луна. Один бог давно ни за что не отвечает – он все это запустил, нажав кнопку, и считает на том свою миссию оконченной, другой же бог – это тот, которому мы препоручили свою ответственность перед самими собой и дали в руку плетку под названием карма, чтобы рано или поздно под ее ударами мы научились различать добро и зло.

Так было ли вначале слово? И кому оно могло быть сказано, когда еще не было ничего и никого вокруг? Ведь слово – это общение. Да и на каком языке оно прозвучало?

В ту пору я начал заниматься раджа-йогой, расширением собственного сознания и пристально наблюдал за собой. Биологи, физиологи утверждают, что клетки нашего организма каждые семь лет коренным образом обновляются. Это ли не шанс выбрать другую ментальную и поведенческую модель? Я следил за собой и уже кое-что знал о тайнах нашего внутреннего бытия на уровне обмена веществ, глубже – на уровне работы клеток, наших мембранных структур, на химическом уровне нашего предсознания, закладываемого в перинатальный период. В группе только я был бывшим спортсменом, остальные ее участники в основном представляли медицинскую и художественную среды, и были, как правило, не очень успешными в своей практической деятельности, а зачастую и в семье, потому, видимо, и стремились к другому знанию, к другим возможностям. Здесь тоже была своего рода религия, только мы не ходили в церковь, не крестились и не били поклоны, не молились и не ставили свечек – но эта наша подпольная религия тоже обещала нам свет и душевный покой при выполнении определенных условий. Быть всегда светлым и радостным, а, значит, здоровым, отключиться от суетного, мелкого, перестать служить страстям, а все страсти, как выяснилось, имели низменное начало, – вот что обещали нам ежедневные позы-асаны и дыхательные упражнения. Могу подтвердить – все это работало.

И, удивительное дело, чем больше я отрешался от низменного, корыстного, служившего лишь моим низшим чакрам, тем больше симпатии, не скажу – любви, я начинал испытывать к людям. Симпатии и сочувствия. И вместе с ростом этих чувств изменялось и мое восприятие людей. Или это само время стало стремительно меняться и, перемешивая социальный состав, выдвигать на авансцену других людей, другой психофизический тип? Так или иначе, но красивых в моем представлении людей становилось все больше и больше. И я не заметил, как впал в другую крайность, – люди стали казаться мне прекрасными, вид обнаженного тела стал вызывать у меня

восторг, и я с умилением смотрел на плоть, на все эти аккуратно подобранные друг к другу косточки, которые вместе с внутренними органами, мышечными тканями и эпителием кожи образовывали это столь необыкновенное произведение под названием человеческое тело. Меня восхищали ступни, икры, бедра, вид ягодиц вызывал у меня творческий экстаз, который не имел ничего общего с похотью. А о женской груди я уже и не говорю... Она в смысле красоты и гармонии являлась для меня одним из высших проявлений мировой эстетики, по лекалам которой, видимо, творилась и творится земная жизнь.

Поначалу я просто массировал, добиваясь релаксации всех мышц, всех частей тела, поскольку именно релаксация и гармонизирует организм (правда, ненадолго), но далее, поскольку мои знания и навыки росли, я стал адресно воздействовать на те органы, которые беспокоили пациента, на которые он жаловался; потом я научился считывать эти жалобы сам, сканируя руками тело... Я это определял по теплохолодности различных его участков, где более прохладное место свидетельствовало об отсутствии должной энергии, об энергетическом пробое, о том, что вибрации Вселенной не воспринимаются ригидной средой. А больное место – всегда ригидно, всегда напряжено и лишено пластики резонанса. Мы же должны вибрировать в резонанс с Универсумом. Массаж – это, естественно, контакт, а я уже мог работать и бесконтактно. Подготовив руки, напитав их энергией, я экранировал ладонями тело пациента, чувствуя зуд в кончиках пальцев, я даже, казалось, видел испускаемые биотоки – такую матовость воздушной среды возле ладоней. Не всегда больной орган сразу поддавался моему воздействию, но не помню ни одного отрицательного результата. Разве что я сам скисал и нуждался в подзарядке. Но я быстро восстанавливался. Существовало несколько методов защиты от накапливающегося негатива, который передавался от больного, – мыть руки, класть их в золу, очищать ладони перед горящей свечой. Но лучший способ защиты – рекомендую его всем, кого интересуют такие вещи, – опустить перед собой руки ладонями наружу, а затем сомкнуть ладони, чтобы правая оказалась слева, а левая – справа, при этом ощущая во рту скопление слюны...

Я понимал, что становлюсь другим, я чувствовал перемены в себе – я увидел, что люди страдают, на что раньше не обращал внимания, я стал испытывать потребность помогать им, я безумно жалел старух и стариков, я чувствовал свою личную ответственность перед детьми. Я хорошо зарабатывал по тем временам, так что мог позволить себе нормальную еду, которую тогда можно было купить только на рынке, ибо в наших бедноватых магазинах стараниями Горби с его ускорением, человеческим фактором и антиалкогольной компанией вскоре стало и вовсе шаром покати, – я снимал двухкомнатную квартиру и приобрел машину, хотя в городе она была мне не очень-то и нужна. Я не афишировал свои умения, старался не высовываться, я знал, что умников у нас не любят и, выявив, тут же распинают, я помнил Саади, сказавшего, что отвращение невежды к мудрецу в сто раз больше, чем ненависть мудреца к невежде; – я делал свое дело тихо и молча, почти инкогнито, но клиентура моя росла вместе с заработками, часть которых я пускал на благотворительные цели, переводя на счета детских домов и больниц, между прочим, тоже инкогнито.

10

А потом в мою жизнь вошла Анфиса Хитрово. Похоже, она действительно была из того самого рода Хитрово, что поставлял генерал-губернаторов для всей России. Во всяком случае, я поверил ее легенде, ибо в ней действительно было что-то дворянское, великосветское, чуть надменное, чуть старинное, подзабытое, какое увидишь разве что в костюмированных кинолентах о прошлом России. Такая трогательная надменность была характерна для героинь любовных рассказов Бунина.

Анфиса только что развелась с мужем, и, решив начать новую жизнь, почему-то оказалась на массажном столе в женском отделении банно-оздоровительного комплекса на 5-ой линии Васильевского острова. Я, как обычно, чтобы не смущать пациентку, дал ей в мое отсутствие спокойно раздеться и лечь на стол, а потом только вошел. Она лежала, как положено, на животе, левой щекой на сложенных перед собой кистях рук, и смотрела в противоположную от меня сторону, предоставив мне лицезреть волну ее темно-рыжих, или точнее цвета терракоты, волос. Когда она только появилась в дверях, я не обратил особого внимания на ее лицо, просто оно мне

показалось бледным и немного неправильным – с тяжеловатой челюстью и длинным разрезом рта, но притом вполне миловидным. И это все – слишком уж много лиц проходило каждый день передо мной, и я отмечал их в полглаза. Много важнее было для меня само тело, с которым предстояло поработать.

У Анфисы была очень белая кожа, но без веснушек, спину возле левой лопатки метила довольно крупная родинка, вся остальная поверхность тела была чистая и гладкая, без изъянов; и в тонких местах, на внутреннем сгибе ног и рук, на лодыжках, на запястьях, на тазовых костях, где жировой покров вовсе отсутствовал, кожа отливала голубизной, а на ягодицах и бедрах – цветом сметаны. Эта ее белизна почему-то ассоциировалась во мне с духовной чистотой, с невинностью в высшем смысле этого слова и целомудрием, и я мысленно наделил ее телом девы Марии, ухитрившейся непорочно зачать (как известно, эта версия появилась на каком-то из Вселенских соборов чуть ли не триста лет спустя после ее смерти).

Подойдя к ней и нейтрально положив ей обе ладони на поясницу, я весело спросил:

– Какой массаж заказываем – общеукрепляющий, релаксационный, эротический?

Анфиса – в тот момент я еще не знал ее имени – приподняла голову, повернула ее в мою сторону, не меняя общей позы, и оказалась ко мне в профиль, скосив ко мне левый глаз, которым, впрочем, не захватила меня в поле своего зрения. Я отметил голубоватую лунку под глазом – признак хронических недосыпов, нижнюю челюсть, чуть выступающую по отношению к верхней, признак тяжелого характера, отметил и то, что, отвечая мне, она едва пошевелила губами – словно хотела скрыть артикуляцию от какого-нибудь наблюдателя со стороны, умеющего читать по губам.

– Вы делаете здесь эротический массаж? – спросила она тоном представителя народного контроля (была еще тогда такая организация).

Это была ее характерная манера – сходу атаковать собеседника и ставить его в тупик, в позу виноватого, что бы он ни говорил, потому, сдрейфив, я захохотал и постарался, свести все к шутке, – дескать, шутками я расслабляю мышцы клиента, поскольку именно в релаксации и состоит главная функция смеха – почему люди и любят смеяться. Она молча выслушала мой пассаж и, похоже, он ее не удовлетворил.

– Нет, вы все-таки мне объясните – что значит эротический массаж? – Она продолжала держать голову навесу, в профиль ко мне, но уже клевала подбородком – признак слабеньких шейных мышц.

Тут меня бросило в другую крайность, и я нагло заявил:

– То и значит, что вы будете испытывать эротические ощущения.

– С оргазмом? – иезуитски уточнила она.

– Как скажете, – хмыкнул я, хотя на самом деле мне стало не по себе, и я уже подумывал, как бы поскорее от нее отделаться.

– Оргазм я и сама могу себе устроить, – сказала она, – в любой момент, – и опять отвернулась головой к стене, словно показывая этим, что ее интерес к моей персоне исчерпан.

Это меня задело, и я сказал:

– Настоящий оргазм может быть только при сложении двух энергий инь-ян, женской и мужской. Все остальное – от лукавого.

Она снова подняла подбородок и переместила голову в мою сторону, остановив ее на том же угле поворота – сколиоз шейных позвонков:

– Не ожидала услышать в бане такое. Вы что, теоретик?

– Вы не ответили на мой вопрос, – сказал я.

– Какой вопрос? – сказала она.

– Я спрашивал, какой вам делать массаж?

– Начинайте, – сказала она, – а там посмотрим.

«Конь», – подумал я. Или это меня, коня, она хотела оседлать. Во всяком случае, за уздечку у нас шла борьба.

Потом я уже узнал, что она закончила философский факультет, пишет кандидатскую по Фромму, увлекается разработками Станислава Грофа, того самого, кто отправляет своих пациентов в параллельные миры с помощью ЛСД, а вообще она считает себя колдуньей и хотела бы найти себе применение – то ли лечить от порчи и сглаза, то ли наводить их.

Да, что-то такое я сразу в ней почувствовал, и не без трепета приступил к делу, то есть к телу... Эротический массаж я делал только своим подружкам, но делать его молодой женщине, которой ты не будешь обладать... Это было для меня что-то новенькое. Черт дернул меня за язык – наверняка она сама это и спровоцировала.

Я начал с ног, со ступней. Они у нее были чуткие, пятки крепкие и чистые, не то, что у большинства теток, – растрескавшиеся, разошедшиеся, истертые в хождениях по бытовым российским мукам. Пятка – это показатель качества жизни. Если у тебя свое авто, у тебя и пятка атласная, как подушечка для иголок. Есть тут, конечно, и физиологический аспект – мускулатура стопы, способ ступать, опираясь предпочтительно на носок или пятку. Чем меньше нагрузка на пятку, тем она... аристократичней что ли. Короче, пятка Анфисы привела меня в восторг, как и пальцы ног, с длинным указательным, обогнавшим большой палец, – такие пальцы изображали у босых мадонн художники Возрождения, тот же Рафаэль. Этот длинный второй палец, то есть указательный, и был для меня признаком аристократической стопы, ну, не аристократической – где ныне наши аристократы? – но все-таки...

Я так завис над ухоженными, хотя и без педикюра, прекрасными по своей лепке ступнями Анфисы, что не сразу обратил внимание на ее неподвижность, которую вполне можно было спутать с обморочной – Анфиса лежала так, будто ее подстрелили; полное расслабление всех мышц. Решив, что она просто заснула – это часто бывает при массаже – я тут же активно переключился на ее ягодичицы – белые, как яичная скорлупа. Анфиса чуть приподняла голову, то ли давая знать, что мой маневр отмечен, то ли просто возвращаясь из своего забытья, – я же сказал себе, что пятки это ее слабое место, как у Ахиллеса, и стоит взяться за них, как она превращается в глину и с ней можно делать все, что угодно.

Странное чувство я испытывал при этом, как если стоишь на краю пропасти: холодок опасности и желание прыгнуть – пропасть притягивала, как магнит, будто она была женским лоном, где в потаенном укрытии были спрятаны все мои первоначальные упования, которые не оправдались, и вот – будто можно было вернуться в него, к ним, чтобы начать сначала, по-иному, по-новому.

Спустя несколько минут в близне разминаемых ягодичиц обозначился явный румянец – они зарделись под шлепками моих сдержанно-бесцеремонных ладоней, и я раздумывал, что мне делать дальше, когда вдруг Анфиса, оперевшись на правую кисть и левый локоть, стремительно перевернулась ко мне лицом и строго, почти сердито посмотрела на меня, с той суровостью, почти неприятием, почти ненавистью, как смотрим все мы, когда у нас помимо нашей воли отнимают наше «я», а мы готовы его отдать за понюшку табаку ради какого-то четырехсекундного экстаза, экстаза высвобождения дракона из темных недр нашего естества. Да, именно так посмотрела она на меня. Или не так... Или в ее взгляде было осуждение – оттого, что я, мужчина, разбудив ее чувственность, не собирался ее удовлетворить, водил по замкнутому кругу, пытая, но не преступая последней черты... Так или иначе – она резко перевернулась на спину, согнула ноги в коленях и, разведя их, несколько раз подняла и опустила ягодичицы, имитируя соитие – ну как в латиноамериканских танцах партнеры совершают бедрами фрикционные движения навстречу друг

другу. Но меня поразил не этот до непристойности откровенный ее призыв, а ее огненный лобок, как бы язычок горящей свечи, только направленный вниз, где каждый волосок был как маленький протуберанец общего пламени, уходящего во впадинку между двумя золотисто-розовыми большими губами, ниже которых размыто угадывалась гранатовое пятнышко ануса. Да, она сделала несколько совершенно недвусмысленных призывных движений, глядя на меня суровым, почти ненавидящим взглядом, но профессиональный контроль удержал меня от естественной реакции. Или это страх остановил меня? В общем, я не воспользовался ее предложением – интуиция подсказала мне совсем другой ход, неожиданный для меня самого. Я положил ей левую руку на небольшие упругие груди, так что основание ладони прикрыло ее левый сосок, а кончики пальцев – правый, соски были набухшие и плотные, правую же руку я положил ей на промежность, ощутив исходящий оттуда жар. Большим пальцем, оказавшимся напротив ее клитора, я отодвинул прикрывающую его складку, которую некий средневековый естествоиспытатель поэтично и не без сарказма назвал капюшоном монаха, и ногтем стал чутко покалывать уязвимую ягодинку, а указательный и средний осторожно ввел внутрь, в нежную лаву ее влагалища. Аромат ее секретов был чист и приятен. Анфиса ухватилась двумя руками за мою руку, как за точку опоры, и, глубоко вздохнув, закрыла глаза. Двумя пальцами я играл у нее внутри, меняя направление, оглаживая указательным верхний складчатый свод влагалища за лобковой костью, напоминающий наше небо, а средним – стенки, и чувствуя, как сокращаются мышечные кольца вагины. Физиология ее реакций завораживала меня больше, чем предложенный мне секс, – он лишил бы меня возможности наблюдать, испытывать бескорыстное наслаждение смотрящего со стороны, мне же в тот момент было оно почему-то важнее и необходимей, чем выгул собственного жеребца, который поначалу рвался из плавов, а потом, почуяв, что попасться его пустят, понативно сник.

Анфиса как бы сопротивлялась мне, вернее тем ощущениям, которые я в ней вызывал, но я довольно быстро привел ее к оргазму, что она попыталась скрыть от меня, только бедра ее напряглись, плоть затрепетала, а сокращающиеся мышцы лона до боли стиснули мне оба пальца. Теперь она прилагала усилия, чтобы удалить их из себя, но я уступил ей лишь после того, как в ней затих последний оргазмический вздрог.

Она лежала неподвижно, запрокинув голову, с закрытыми глазами, с испариной на переносице и скулах, избавившись наконец от моих пальцев, но продолжая цепко удерживать их, как если бы сей инструмент мог ей еще понадобиться. Я же, сделав вежливую попытку освободиться, послушно остался стоять рядом, ожидая дальнейшего. Наконец она открыла глаза и сказала:

– Спасибо за массаж... Славно... Что я должна в ответ?

– Ничего, – сказал я.

– Как? А это? – она указала взглядом на мою ширинку. – Не болит? У мужчин обычно болит, если не...

– Все в порядке, – перебил я ее. – Я практикую дао любви, испытываю оргазм без эякуляции...

Я, естественно, блефовал, но мне хотелось запомниться ей. Мне хотелось, чтобы она вернулась. Мне хотелось запасть ей если не в душу, то в лono, и сделать это можно было только отказом от предложенных встречных услуг. Только так у меня был шанс заинтересовать ее.

– Ну что же, – сказала она, приподнимаясь с легким разочарованием, но уже возвращая в тон голоса нотки превосходства, – будем считать, что мы познакомились.

Денег я с нее не взял, сказав, что в преискуранте нет оказанной ей услуги.

Таково было наше знакомство, растянувшееся на два года и, может, продолжавшееся бы и сейчас, если бы... Впрочем, судьба не знает сослагательного наклонения.

Анфиса пришла ко мне, в баню же, через неделю, и тут же на массажном столе мы занимались любовью. Лono ее превысило все мои ожидания – оно умело целовать, сосать, всасывать, не

отпускать или наоборот шутливо выталкивать, – оно могло сердиться и радоваться, принимать и отвергать, оно могло быть нежным, как весенняя травка, и ядовито-жгучим, как крапива, оно могло убаюкать и призвать на подвиг, утешить и довести до безумия – все оно могло, о чем даже сама Анфиса не догадывалось. Лоно было ее главным даром, бесценным и редким. У лона был совсем иной характер, чем у Анфисы. Оно было щедрым и мужелюбивым, оно было лишено эгоизма; к его недостаткам можно было отнести разве что поиск наслаждений там и тогда, где и когда для нормального соития все уже заканчивалось.

Но когда ее лоно было для меня недоступно, я едва узнавал свою подругу. Она была умней меня, интеллектуальней, она изначально без всяких на то усилий была человеком другого духовного уровня и то и дело давала мне это понять. Она как бы снисходила до меня, опускаясь со своих интеллектуальных небес, чтобы накормить свою алчную плоть. Телом она была гедонисткой, голова же ее, ее мозги служили какой-то умопомрачительной хрени. Они никогда не брала меня в свою компанию, не пускала в свой круг; был, правда, момент, когда она пыталась меня приучить к театру, даже играла в какой-то любительской труппе, но я искренне недоумевал, зачем нужен еще и театр, когда есть кино, где то же самое можно сделать гораздо лучше, – живой актер на сцене казался мне динозавром, пережитком далекого прошлого...

Это от нее я впервые услышал хохму насчет ахалей, хахалей и трахалей. Я, естественно, был для нее трахалем, и все мои попытки расширить свое амплуа, хоть по той же идиотской системе Станиславского, успеха у Анфисы не имели. Я, по ее словам, был ее половой слабостью, клапаном, дающим выход ее половым вожделениям. За ночь она испытывала со мной бесчисленное число оргазмов, притом совершенно разных по амплитуде, тону, краске, оттенку, настроению... срываясь со всех якорей, она кричала, визжала, стонала, ахала, рыдала, умирала и клялась в вечной любви, а спустя минуту после оргазма могла сатанински рассмеяться, дабы я не очень-то развешивал уши...

Два года наших встреч в основном и прошли в постели. Дрожащая от нетерпения, мерцающая глазами, облизывающая губы, тянущаяся требовательной рукой к моей ширинке, умеющая расслабляться так, что ее можно было мять, как глину, пылкая, трепещущая, закрывающая глаза и открывающая рот, в котором как бы стоял немой крик, позволяющая делать с собой все, что угодно, – жертва на заклинании – она через пару часов вставала чужая, холодная и отрешенная, словно то, что было, было и не с ней вовсе, спешила сразу одеться и уйти, и ей стоило труда сохранять на лице улыбку как аванс будущей встречи, которая, казалось, ей, уже не нужна. Каждая наша встреча превращалась в последнюю.

Она была сладкоежкой, и я покупал ей сладостей, она любила коктейли, от которых меня воротило, но ничего другого она не пила; она любила цветы, больше всего – пряные лилии, она любила серебряные украшения, и ходила, увешанная ими, как новогодняя елка. К каждой нашей встрече я что-нибудь покупал – подарки ей были необходимы, как секс, – они ее возбуждали, давали ей на короткое время чувство новизны, я же, несмотря на ее уверения, что равных в постели мне нет, этими бесконечными материальными подношениями старался как бы компенсировать свою – по большому счету – несостоятельность. Анфиса меня не любила, а я ее, пожалуй, – да. Я говорю «пожалуй», потому что воспоминание о ней не греет мою душу, а лишь ожесточает ее, как будтоходишь в холодную воду, покрываясь мурашками... Она прошла через мою жизнь, как машина через автомойку, и укатила куда-то глянцева, как новенькая, я же еще долго вращал вхолостую своими щетками, в дожде слез...

Тут и появился Володька. Тот самый кировский Володька, с которым мы когда-то убили и закопали в канаве свою первую женщину, соседку тетю Любу. Я о нем ничего не знал с тех пор, как ушел в армию, и считал, что навсегда оторвался от своего прошлого. Не получилось...

Володька отыскал меня. Он только что вышел из заключения, отмотав уже второй срок за квартирную кражу. Выгнать бы мне его в тот же вечер, когда он возник перед глазком моей двери, дать по морде, не вступать в разговоры, но я, каждый день отмечавший свой духовный рост на шкале добродетелей, я его впустил и даже вроде обрадовался ему – это был вечер, когда Анфиса,

позвонив, сказала, что не придет, хотя мы и договаривались, и на душе у меня было погано, а стол ломился от сладких вин и яств... Володьку в этом матером мужике с тяжелым взглядом признать было, конечно, трудно, но и не признать невозможно – это был он собственной персоной. Мы выпили, в основном, пил Володька, которому было все равно – что, и я оставил его у себя ночевать, тем более что альтернативой для него был лишь вокзал, а утром умытый, побритый и причесанный Володька, впервые за многие годы принявший ванну, в моей чистой одежде, вместо своей грязной, выброшенной в мусоросборник, мой бывший друг Володька потребовал от меня семь тысяч долларов.

Я понял, за что, без объяснений. Это были отступные за его молчание. Откровенно говоря, я не знаю, насколько это было серьезно – его угроза. Брать на себя нераскрытое убийство, называть подельника? По пятнадцать лет мы бы с ним схлопотали, это точно, в лучшем случае мне бы скосили до десяти... Возможно, Володька не блефовал – жаловался на судьбу, одиночество; родители его умерли примерно в то же время, что и мои дед с бабкой, к которым я так и не успел, жилье отняли. Теперь он уверял меня, что зона для него – дом родной, а гражданка рвет сердце. Он хотел туда, обратно, в странный мир угрюмого рабства, в мир одинаковых роб и бритых голов, пятнадцать лет заключения – это то, о чем он мог только мечтать, и он мечтал взять в компанию друга своего детства, – вдвоем было что вспомнить.

Семь тысяч долларов он считал нормальной платой за мою свободу. Примерно столько стоила тогда в городе однокомнатная квартира, и Володька, если уж карта шла ему в руку, готов был попробовать себя в новой жизни. Были бы деньги, а жилье и прописка – это не проблема, да и друг подсобит...

Семи тысяч у меня не было, только три, и я бы отдал их ему, будь он сговорчивей, но в лагерях да тюрьмах Вовка приобрел характер твердый, и не уступал. Он не собирался из-за моей финансовой несостоятельности обживать комнату в коммуналке. При моих связях я вполне мог раздобыть недостающие четыре тысячи. И правда, кое-какие связи у меня были. К тому времени я уже обзавелся большим кругом знакомств среди директоров магазинов, начальников всяких там баз и складов, жирующих на чисто совковском феномене товарного дефицита, были у меня среди клиентов юристы, менты, работники ОВИРА и ОБХСС, ЗАГСа и ГАИ, пожарной инспекции и бюро похоронных услуг... Мне было у кого занять требуемую сумму, но в то морозное декабрьское утро я сопротивлялся, выворачивал свои карманы, уговаривал, усовещивал, пытался наставить на путь истинный, юлил, малодушничал... Но чем красноречивей становился я, тем непреклоннее – друг моих детских и подростковых лет.

Пришли мы к тому, что я найду требуемую сумму. Но мне нужно было время. Мы договорились, что через два денька он зайдет ко мне и лучше, чтобы я был уже при деньгах, потому что ему терять нечего, и если что... И я согласился, и я его отпустил, хотя мог бы решить это дело сразу, не откладывая в долгий ящик. Отдавать ему деньги я не собирался: я уже понял, что это поезд в одну сторону и что мне придется доплачивать за каждую остановку, сколько бы их ни было впереди.

Два дня он не продержался – он допускал, что я могу исчезнуть, и позвонил на следующий вечер.

– Приезжай, – сказал я.

Он явился через пять минут, видимо звонил снизу из телефонной будки, следя за моей парадной. Он явно волновался и в то же время скрыто торжествовал – тюремный закон подтверждался еще одним примером: не было ничего проще, чем расколоть городского фраера, интеллигентшуку – за такового он меня и принимал, поскольку я благоразумно умолчал о своем спортивном прошлом и воскрешении из полумертвых, впрочем, он моим прошлым и не интересовался.

Володька был удивлен, когда я, не предлагая ему раздеться, стал надевать зимнюю куртку.

– Чо ты? Давай капусту, и я того...

– Раскатал губу... – сказал я. – Мы договорились на завтра.

Он беспокойно посмотрел на меня, пытаясь прочесть мои мысли:

– Ты это куда? Капусту гони. Слово – закон.

– Капусту еще взять надо. Человек только сегодня объявился. Он мне должен.

– Ты чо, стрелку забил с ним?

– Догадливый, – сказал я, подхватывая спортивную сумку.

– А сумка зачем? – Володька верил и не верил мне.

– Кончай базар, – сказал я ему. – Хочешь денег, поехали.

Когда мы уже спускались по лестнице, я, чтобы развеять его подозрения, шлепнул сумкой о колено:

– На обратном пути продукты закуплю. На неделю.

Хлопок явно пустой сумки, в которой у меня были только полотенце и плавки, успокоил Володьку, привыкшего не верить, но так и не научившегося не бояться и не просить. Нарушив две из трех лагерных заповедей, мог ли он рассчитывать на успех... Мы сели в мою белую шестерку, стоявшую во дворе, я включил дворники, чтобы очистить заиндевевшее лобовое стекло, и вырулил на Средний проспект, забитый людьми, трамваями и машинами. Час пик уже миновал, но здесь возле метро «Василеостровская» народу было полно, и каждый второй пешеход норовил перебежать дорогу прямо у тебя перед носом. Нация самоубийц. Все страшно торопились, как будто было куда. Как будто все были заняты важными и неотложными делами. На дворе стоял всего лишь 1990-й год и делать было откровенно нечего ни дома, ни на работе. Володька сидел рядом, глядя вперед под машущие щетки дворников. Похоже, он не выспался, и их монотонное движение усыпляло его. Где он мог переночевать? Скорее всего, на вокзале. Я перемахнул через Тучков мост и по Кронверкской покатил вдоль Петропавловской крепости. В морозной дымке, выхваченный из мглы неба, летел над нами ангел на шпиле. Наверняка ему было холодно и одиноко там, на высоте 125 метров. Почти так же, как и мне – на сердце у меня лежала глыба льда.

– Чо это там, наверху, – перехватил мой взгляд Володька.

– Ангел-хранитель, – сказал я.

– Город охраняет?

– Да, и всех кто в нем, включая нас с тобой.

– Хуйня, – сказал Володька, – не верю я в это.

– Каждому дается по вере его, – сказал я.

– Вера тоже хуйня, – сказал Володька. – Вот деньги это не хуйня. Проверено.

Однако мысль о том, что он тоже хранит, запала в него, и он слегка расслабился. Он больше не ожидал неприятностей с моей стороны, и на него накатила душевность, он даже почувствовал себя слегка виноватым передо мной.

– Ты меня должен понять, – сказал он.

– Я тебя понимаю, – сказал я.

– Ты же себе заработаешь, сколько хочешь...

– Само собой, – сказал я.

– Я подымусь и тебе отдам. Не скоро, но отдам. Сукой буду... Стану, как ты, массажистом. Научишь?

– Научу, – сказал я.

– Чо, серьезно? – аж перекрутился в мою сторону Володька.

– Вполне, – пожал я плечами, – если ты в принципе обучаемый.

– Я-то? – воспрял Володька. – Помнишь, в школе я математику хорошо рубил. Русский там, литературу, английский – это нет, а математику, физику...

– Ну и отлично, – сказал я, совершенно не помня каких-либо володькиных успехов на ниве обучения, он был закоренелый троечник. – Похоже, он ничуть не повзрослел – его развитие, как и у большинства простых людей, не знающих, зачем они появились на свет, кончилось в лет пятнадцать, и с тех пор к душевному багажу ничего не прибавилось, кроме горьких разочарований и лютых обид, породивших агрессию, озлобленность на весь свет, и восприятие себя как невинной жертвы жестоких обстоятельств.

Возле Иоанновского моста я припарковал машину и мы пошли по деревянному настилу, припорошенному свежим снежком. От мороза деревянные же перила заиндевели и искрились под светом старинных фонарей.

– Красиво, – сказал Володька. Теперь на него снизошла лирика. – Чо это за замок такой? Царский что ли?

– Петропавловская крепость, – сказал я. – Петр Первый строил. А раньше, до революции, тут тюрьма была.

– А сейчас чо? – напрягся Володька.

– Музей, – засмеялся я. – Помнишь про декабристов?

– Ну да, чо-то такое...

– Их здесь держали. Николай Первый сам их допрашивал. Их и повесили неподалеку, вон там, на валу возле речки Кронверки.

Я показывал рукой назад, в сторону Артиллерийского музея, туда, где примерно стояла виселица, но Володька не оглянулся. Он молчал, глядя упорно перед собой. Затем глухо спросил:

– Откуда ты все это знаешь?

– Из книг, – сказал я.

– А я ни хуя не знаю, – сказал он.

– Каждому свое, – сказал я.

– И знать не хочу, – сказал он. – Все это пиздеж для фраеров.

– Понятно, – сказал я.

– А вот мне непонятно, куда мы идем, – сказал он. – Не врубаюсь. Твои музеи я в гробу видел. Денежки где? – он повернулся в мою сторону и, вынув правую руку из кармана своей старой куртки с моего плеча, выразительно потер указательный палец о большой. Ногти у него были грязные.

– Денежки будут, человек принесет сюда. Мы договорились, – спокойно сказал я.

– Нашли место, – проворчал он, приостанавливаясь. – Поближе нельзя было. Имей в виду, Андрюха, если что не так, пеняй на себя. – И с этими словами матерый неприятный

неврастеничный мужик, лишь отдаленно похожий на Володьку, уже второй день отравлявший мне существование, достал из-за пазухи и продемонстрировал пистолет системы Макарова. Я этого не ожидал – вчера пистолета не было, я проверял, пока Володька мылся. Значит, он его где-то прятал.

– Убери пушку, – сказал я, едва удостоив взглядом этот заслуживающий уважения предмет. – Все честно, деньги у мужика. Он нас ждет на берегу. Ты можешь отойти в сторонку. Можешь держать нас на мушке. Он мне передаст – я посчитаю и передам тебе. Не в метро же нам это делать...

– Можно было в машине, – сказал Володька.

– Там пост ГАИ рядом, – сказал я.

– Как-то у тебя некругло, – сказал он, однако снова прибавил шаг.

В свете прожекторов сверкал снег, все было полно искристым сияньем, даже опушенная белым кирпичная стена крепости; только в одном месте, видимо, протаяв от проходящей внутри трубы с горячей водой, она сочилась кроваво-красными подтеками. Мы завернули за угол, к Неве и прошли еще метров пятьдесят вдоль стены, уже гранитной. Тут было и вовсе тихо, пусто, темно – лишь ночная подсветка Дворцовой набережной на той стороне реки, да гирлянды фонарей слева на Троицком, тогда еще Кировском, мосту, по которому медленно ползли огоньки автомашин. В сумраке белого поля замерзшей Невы недалеко от берега чернел квадрат полыньи – узаконенная купальня питерских моржей, живущих неподалеку.

– Ну и где твой мужик? – спросил Володька, оглядываясь.

– Сейчас подтянется, – сказал я, раскрывая сумку и доставая оттуда махровое полотенце. – Мы тут с ним купаемся по вечерам. Одному не рекомендуется – вдруг сердце прихватит. А вдвоем...

– Ну, ты даешь! – сказал Володька, глядя, как я стремительно разоблачаюсь.

На моей сумке выросла гора верхней одежды.

– Покарауль тут, пока я... – Голый, в одних плавках, с махровым полотенцем на плече, я не вызывал у него никаких подозрений – разве что одно снисходительное изумление.

– Ну, ты даешь! – твердил он, невольно последовав за мной, впрочем, оставаясь за мой спиной. – И давно ты на это подсел?

– Лет пять, как в Питер приехал. В здоровом теле – здоровый дух.

– Ну, ты даешь! И не холодно?

– Не-а. Ты говоришь, что тебе тепло – и тебе тепло.

– И твой кореш такой же?

– Угу.

– Чистая шиза! – сказал Володька, шмыгая носом сзади. – Я такое только по телеку видел. Семья какая-то. У них трехлетний пацан голым по снегу бежит.

– Это семья Никитиных, – сказал я. – А был еще Порфирий Иванов. Холодом здоровье делал. Девяносто лет прожил.

Я дошел до слегка парящей полыньи, спустился в воду по железной лесенке с замороженными в лед поручнями и поплыл. Полынья была небольшой – шесть на четыре метра, с кухней в моей квартире. Судя по всему, ее сегодня уже посещали – черная вода была чистой, без намерзших ледяных корок, о которые можно было легко порезаться, тонкая же пленка, которой она подергивалась, не причиняла никакого вреда.

Володька – руки в карманах – встал у края полыньи, таращась на мое омовение.

– Ну, ты даешь, Андрюха. Спиртик-то у тебя хоть есть для сугреву?

– Моржи не пьют, – сказал я. – Но для тебя мензурка найдется. В моей куртке.

Сделав еще заплыв туда-обратно – все купание длится минуты три – я вернулся к лесенке, взялся за нижнюю перекладину и, охнув, с брызгами плюхнулся спиной в воду.

– Чо ты? – всполошился Володька.

– Нога, – простонал я, – ногу свело. Помоги.

Снова взявшись за перекладину, я протянул Володьке свободную руку. Держась за поручень, он тут же выбросил мне навстречу свою. На этом его встречном движении я ухватил его за руку и изо всех сил дернул на себя. С матерным воплем он перелетел через меня в полынью и с головой ушел под воду. Не давая ему опомниться, не отпуская перекладину левой рукой, я тут же нащупал под собой его голову – шапка плавала отдельно – подтянул за волосы к себе, сел ему сверху на плечи, и сдавил бедрами шею в удушающем приеме. То, что на шее у него был толстый шарф, опять же мой, продлило ему жизнь на минуту-другую. Он так и не вытащил пистолет, впрочем, в воде бесполезный, – лишь пытался руками разжать мои ноги, успел даже укусить меня – шрам, его метка, еще виден на внутренней стороне левого бедра. Вскоре он перестал дергаться, расслабился, совсем как тетя Люба, и я ногами отпихнул его подальше от себя. Тело не всплыло в полынье – видимо, его сразу затянуло течением под лед и понесло к Финскому заливу. Володька так никогда и не был найден, во всяком случае, мне об этом ничего не известно.

Я вылез из полыньи – меня била дрожь, но не от холода, хотя я пробыл в воде почти втрое больше положенного, – от адреналина. Я, конечно, смертельно рисковал, полынья все-таки была видна с берега, и, случись неподалеку прохожий, он мог бы вызвать ментов и свидетельствовать против меня. Но никого не было. Видимо, единственный свидетель происходящего – ангел-хранитель на шпиле – решил это дело в мою пользу. Шапка еще плавала на поверхности, но у меня не было сил ее вытаскивать.

Поздно вечером, когда я уже лежал в постели, позвонила Анфиса с намерением приехать, пока метро еще работает, и провести со мной ночь. Я сказал ей, что уже сплю.

– Спишь? – усомнилась она. – Небось, с какой-нибудь блядью?

– В общем – да, – сказал я.

– Сволочь! – сказала она и бросила трубку.

«Вот и все», – подумал я, чувствуя в сердце отрадную пустоту, будто передо мной простиралась снежная целина, по которой можно идти было в любую сторону. Утром я собрал и выбросил на помойку всю свою литературу, которой жил и дышал в последние годы, идеям которой старался следовать. Да и целительскую практику свою вскоре прекратил, оставив только оздоровительный массаж, который давал мне средства к существованию. Я понял, что все мои попытки стать сверхчеловеком происходили из довольно жалкого желания уйти от кары, замести следы, обмануть карму, которая витала надо мной. Теперь все вернулось на свои места, все стало слишком очевидным, чтобы и дальше играть в прятки.

11

Еще часа четыре я вел яхту, а потом заглушил двигатель и спустился к шефу. Каждый раз мне казалось, что вот-вот наступит улучшение, я приду и увижу, что опухоль спала, что шеф дышит ровно, что в глазах у него больше нет страдания. Но было все наоборот – теперь каждое движение вызывало у него боль, даже дышать ему было больно. Я плохо представлял себе, как это у нас получится, когда мы высадимся на берег. Я рассчитывал на ночь, на то, что нас никто не застукает – и я сам определю его в больницу. Но для этого надо было высаживаться в цивилизованном месте

с хорошей инфраструктурой – где-нибудь в Сан-Антиоко или в Кальяри. Возможно ли в не попасть там на глаза полиции, пограничникам? У нас было много денег, но на Западе они далеко не всегда давали зеленый свет. Лицо шефа опухло и стало синеватым – прогрессирующая асфиксия... Если в правом легком у него начался отек, то счет пошел на часы. Кажется, нам ничего не оставалось, кроме как добровольно сдаться. И шеф это знал, и он этого не хотел.

На несколько минут он забылся, а потом снова открыл глаза:

– Где Макси?

– Макси больше нет. – сказал я.

– Ты ее убил?

– Нет, она утонула, – сказал я.

Шеф прикрыл глаза, осознавая случившееся. На мгновение болевая складка между его бровями разгладилась. Предательство в его среде не прощалось. Шеф пошевелил серыми губами, попытался приподняться на локтях, но, охнув, принял прежнее положение.

– Ты вот что... Ты возьми эти, как их, деньги, – сказал он, сделав паузу, чтобы прошла боль, – мне не нравится, что они лежат в портфеле. Возьми их наверх, а то тут ходит непонятно кто... Женщины какие-то. Я же велел никого не пускать. Где твой спасательный жилет? Ночью без него нельзя на палубе...

Шеф бредил. Женщины? Не смерть ли ходила возле него? Я дал ему обезболивающее со снотворным, и шеф снова забылся. Портфель лежал рядом с ним. Я накинул сверху покрывало.

Из-за перегородки в туалетную комнату, где сидела моя пленница, донесся глухой стук. Я повернул защелку и вошел. Таласса сидела на полу и била в него пятками. При виде меня она тряхнула головой и откинула ее немного назад, чтобы измерить меня гордым и презрительным взглядом.

– Есть проблемы? – спросил я.

– Писать хочу, – с вызовом сказала Таласса.

– Писай, кто тебе мешает, – сказал я.

– Я не буду писать в трусы, – сказала она. – Я не животное.

– У животных нет трусов, – сказал я.

Мой юмор ее не впечатлил.

– Я сказала – писать хочу, – повторила она с вызовом женщины, чьи права в любой ситуации остаются суверенными.

– Ну что ж, я тебе помогу, – сказал я и, опустившись на колени, показал, что готов снять с нее шорты. На миг смятение мелькнуло в ее глазах, но она справилась с ним, и подогнув под себя сначала одну, потом другую ногу, встала на колени. Видимо, наручники, надавили ей на кисти, и она ойкнула.

– Пардон, мадам, ничего личного, – сказал я, стягивая к коленям ее тугие шорты, за которыми открылись шелковые небесной голубизны трусики на гладких смуглых бедрах

Приподнимая поочередно колени, Таласса дала стянуть с себя шорты, а потом решительно опустилась задом на пол и строго сказала:

– Дальше я сама...

– Что значит сама? – спросил я, понимая так, что трусы мне будет дано снять только с ее трупа.

– Отстегните меня от трубы, я ничего вам не сделаю.

– А если сделаешь?

– Вы мужчина. Вы сильнее. Зачем держать меня в наручниках, если вы сильнее.

– Может, ты занималась кун-фу или кара-те, – сказал я.

– Снимите наручники, – сказала она, – и дайте мне пописать. Я хочу писать.

– Хорошо, – сказал я. – Я тебя отстегну от трубы без всяких предварительных условий. Но ты останешься в наручниках. Таковы правила.

– Кто их придумал?

– Не знаю, – сказал я. – Но в твоих интересах их не нарушать.

– Я хочу писать, – поморщилась она, повышая голос.

Я отстегнул ее от трубы, и тут же снова защелкнул наручники за ее спиной. Со стоном она вскочила на ноги и опустилась на биде.

– Трусы! – взвизгнула она, и едва я успел отвести в бок перемычку шелковых трусиков, с подшитой внутри мягкой белой подкладкой, как мимо моих пальцев ударила вниз ее горячая душистая струя, чуть припахивающая утренним кофе. Это паркое тепло ее нутра показалось мне приятным, и я не стал убирать руку, продолжая придерживать перемычку. Ей некогда было спорить со мной и она, освобождаясь от боли, все писала и писала, глядя мимо меня. Закончив наконец и переведя на меня вопрошающий взгляд, она сделала робкую попытку привстать, но я сказал: «Подожди!» и стал снимать с нее трусики, отмеченные из-за моей нерасторопности пятнышками брызг. Она не сопротивлялась. Потом я подошел к кабинке с душем, включил воду и сполоснул руку под теплым дождиком.

– Я тоже хочу, – сказала она.

– Чего ты хочешь?

– Принять душ. Хочу быть чистой. Я тут в этой душегубке вспотела. Тут нечем дышать. Я хочу принять душ. Я хочу помыть мою пусси. – Она так и сказала – «пусси».

– Свою пусси ты можешь помыть и в биде, – сказал я, нагнулся и включил ей восходящий душ. Я немного поторопился – вода оказалась слишком горячей, и Таласса вскрикнула и подскочила, звякнув наручниками за спиной. На миг мелькнул передо мной лиловато-сизый бутон ее промежности в черной мураве витых волосков.

– Прости, – сказал я и отрегулировал воду.

Таласса села, нервно вслушиваясь своим лоном в струйки снизу, словно в любой момент от них можно было ждать неприятностей. Я же, замороженный мелькнувшим передо мной экзотическим цветком, похожим на какой-нибудь тотем Вуду, почувствовал, что мое невозмутимо отдохавшее после свидания с бедной Макси естество наполняется новым желанием. Я взял с полки пузырек с моющим гелем, выдавил тягучую в розовых переливах кляксу на ладонь и со словами «сейчас я тебя помою» продел ее Талассе между ног.

Таласса сделала рефлекторное движение, чтобы оттолкнуть меня, но это был только рефлекс, потому что ее лихорадочно ищущий спасения мозг тут же подавил импульс мышц, и нога ее не разогнулась, чтобы отправить меня в противоположной переборке. Скованная Таласса все равно имела ноль шансов в противоборстве со мной.

Она стерпела мою руку, прикоснувшуюся к ее промежности – только волосы, как упругие пружинки, щекотнули мою ладонь.

– Ух, какая у тебя пусси! – сказал я, беря в горсть ее пышный тугой бутон.

Негодование, искажившее поначалу точеные черты Талассы, сменилось игрой приветливых нюансов.

– Нравится? – выдавила она из себя, скрывая свои реальные чувства, которые были явно не на моей стороне, что меня только раззадоривало.

– Еще бы! – сказал я. – Честно говоря, у меня еще не было негритянок.

– Я не негритянка, я квартеронка, – сказала она.

– А черные предки откуда?

– С Мадагаскара.

– Я еще не был на Мадагаскаре, – сказал я, осторожно сжимая сдобные доли ее лона и потирая их друг о дружку.

– Вы должны там обязательно побывать, – сказала она, откинув голову, и по ее телу снизу вверх прокатился вздрог, который ей не удалось скрыть.

– Еще не вечер, – сказал я и активно заработал рукой, как будто щупая плотную дорожную ткань перед покупкой.

– Вау, что вы делаете? – скорчилась она, сжав мне бедрами руку.

– Мою твою пусси.

– Я вас не просила.

– Ты сказала, что хочешь ее помыть.

– Но сама...

– Самой у тебя не получится – наручники мешают.

– Ну, так снимите их.

– Это невозможно.

– Если снимете, я возьму ваш член в рот.

– Мне это не обязательно.

– Странный мужчина, – пожала она плечами.

И счет стал один-ноль в мою пользу.

Таласса была умна – она вела себя по обстоятельствам. Она не лезла на рожон и не корчила из себя недотрогу. Она вела себя так, как ведут, когда хотят спасти свою шкуру. Кроме того, она очень мне нравилась – это была моя женщина. Ей только оставалось почувствовать, что именно я ее мужчина. Кстати – о шкуре. Она, то есть кожа, была у Талассы отменная, переливающаяся, блестящая от пота – молочный шоколад, разбавленный сливками, но еще не размешанный ложечкой, с этими текучими переходами от светлого к темному.

Поиграв с ее раздвоившимся бутонем, я медленно ввел в сочное влагалище указательный палец и стал его кончиком оглаживать так называемую «зону G», сразу под лобковой костью, а на клиторе оставил большой палец – одновременная стимуляция двух этих местечек вызывает у

любой капризули, будь она даже половой протестанткой, сладострастные спазмы и бурный неконтролируемый оргазм.

– Ууу! – вдруг издала Таласса низкий горловой звук и откинула голову, беззащитно открыв свою длинную сильную шею, с набухшими на ней жилками и жемчужинками пота, скатывающимися в низкий округлый вырез розовой трикотажной рубашки – в ложбинку между еще не тронутых мною грудей.

– Нравится? – спросил я.

– Это ужасно... – пробормотала она, не поднимая головы.

Каждое попадание кончика моего пальца в ее чувствительные точки вызывало у нее это низкое контральтовое «ууу!», в котором звучала темная, еще, может быть, никем не разбуженная африканская стихия, и чем настойчивей становилась моя ласка, тем безумней было эхо Талассы, словно своей пальпацией я впервые обозначал для нее самой параметрию ее эроса. Струи пота бежали по ее шее, в то время как я, обмакнув средний палец в ту же купель, ввел его в тугий анус, таким образом создав трезубец, которым как бы пробовал мою женщину на готовность к самому соитию. Будь у меня борода – я сошел бы за бузотера Посейдона, своим трезубцем выбивающего из земли живительную влагу источников. Но когда Таласса, по моим наблюдениям, была уже готова разразиться сокрытыми водами, я резко выдернул руку и обмыл пальцы под струйками восходящего душа биде. Таласса с трудом подняла голову и посмотрела на меня. Она была в трансе желания – больше во взгляде не было ничего. Она не знала, что я намереваюсь делать дальше, но и не спрашивала. Моя рука заворожила ее.

– Встань! – велел я, и она медленно поднялась на неслушающихся ногах. Колени ее дрожали. Развернув, я легонько подтолкнул ее в спину к душевой кабине, точнее, выгородке, и, включив душ, пропустил вперед.

– Снимите мне, пожалуйста, рубашку, – сказала Таласса.

– Думаю, обойдемся, – сказал я, потому что для этого пришлось бы снова отстегивать наручники. – Могу снять лифчик, – и, не спрашивая разрешения, я отстегнул крючок на поперечной лямке, лифчик распался, и ее груди вывалились мне в руки двумя спелыми плодами. Я огладил их, покатав между кончиками пальцев тугие набухшие соски, затем взял Талассу за бедра, которые были у нее помускулистей, чем у Макси, и расстегнув на шортах ширинку, достал из плавок свой член. Он был в состоянии полуготовности, и я осторожно провел им по раскрытым в мою сторону розовым ладоням смуглой Талассы, что были схвачены никелированными браслетами, теми самыми, которые шеф пользовал для любовных утех с Макси. Таласса пошевелила пальцами, догадавшись, что от нее требуется, но я не очень-то доверял ей, поэтому сам, не вручая ей свой предмет, водил им по ее ладоням, тут же убирая его, едва ее пальцы делали хватательное движение. Такие вот кошки-мышки. То, что Таласса была готова его схватить, а он, ловкач, ей не давался, возбудило его так, что ему стало больно в смиренной рубашке собственного пещеристого тела – и он теперь рвался из себя, будто обрел собственную душу и не знал, куда ее деть. Я помог ему, введя во врата ада или рая – на створках не было надписи – и замер, трепеща от полноты чувств и готовности тут же излить все темное и высокое, что накопилось во мне, и, может быть, очиститься наконец.

Да, только этого мне и не хватало – такого конфуза я не мог себе позволить. Поэтому я вернул свой предмет в исходное положение и на минуту прищемил пальцами ему головку, а затем для верности придавил еще и точку между анусом и мошонкой в самом корне предмета своей мужской уверенности. Мой член успокоился, чуть потеряв в объеме, зато выиграв в стойкости, и я ввел его обратно в рай-ад, оппозиция которых точно отражала строй чувств и ощущений, пробегающих по моему позвоночнику от крестца до макушки и вылетающих из нее в космос, – строй, в котором притяжение и обожание равнялись отталкиванию и отвращению, оставалось только сделать выбор. Впрочем, если речь обо мне, я его сделал. Теперь я то погружался на всю глубину, возвращаясь лишь наполовину, чтобы создавать в остающемся незанятым внутреннем пространстве Талассы подобие вакуума, отчего у женщин возникает ощущение полета, то начинал

делать бедрами вращательные движения, как бы ввинчиваясь в нее и не оставляя таким образом ни кусочка вагины, не обласканного мною.

Я дождался, пока Таласса, стenea и биясь точеными ягодицами в мои бедра, переживет все подробности своего оргазма, чтобы кончить ей вслед, но вдруг почувствовал, что мне это не нужно, – я как бы уже кончил внутри себя и не один раз. Но испытывал я не опустошение, как после эякуляции, а наоборот – подъем энергии, будто мне ввели какой-то наркотик. Я испытывал блаженство и был одновременно готов к подвигам. Жаль, что я не знал своих возможностей раньше, когда занимался дзюдо, а то непременно стал бы чемпионом мира, а не телохранителем, притом – отнюдь не своего тела, а чужого, жалкой шестеркой на раздаче чужих призов, заурядным самцом, способным трахать лишь скованных наручниками баб.

Моя эйфория продолжалась минуту-другую, а потом ее сменила печаль. Я стянул с Талассы мокрую рубашку, прямо к ее кистям, вытер ее тело махровым полотенцем и накинул ей на плечи махровый же халат, висевший тут же, судя по размеру – Накиса. Раскаяние и чувство вины охватили меня, когда я снова привязывал Талассу к трубе – на сей раз концами мокрой рубашки, оставляя своей пленнице чуть больше свободы.

– Возьми меня с собой наверх, – говорила она, перейдя на «ты». – Здесь душно. Я люблю море, простор... Можешь меня там приковать, я не возражаю. Лишь бы морской простор, ветер. Много простора и ветра. Возьми. Ты же мужчина. Мне понравилось с тобой. Та женщина – она ведь не твоя, верно? Я буду твоей женщиной...

Таласса как чувствовала что-то...

– Хорошо, я подумаю, – сказал я, внутренне уступая ей. Ибо проявив гуманность по отношению к жертве, к заложнице, пленнице, мы вступаем с ней в сговор человечности против бесчеловечности, в сговор добрых сил против злых – тех, что позволяют нам грабить, насиловать и убивать.

Я снова запер ее и открыл дверь в галльон с нашим вторым пленником. Там было темно, и после света я не сразу разглядел сидящего Накиса.

– Вы кончили в нее? – спросил голос из темноты. Он звучал горько, но вежливо.

– Что-что? – переспросил я, чувствуя однако, как щеки мои заливают жар стыда.

– В Талассу нельзя кончать, мистер, – с горестной предупредительностью продолжал докторский голос Накиса. – У нее всего лишь одна фаллопиева труба – если будет внематочная беременность, то это кончится для нее бесплодием или смертью.

– Вот и напиши это у нее на лбу, – рявкнул я, оскорбленно захлопывая дверцу и закрывая на защелку.

Значит, тут все было слышно... Цирк... Мне стало вовсе погано. Не отморозок же я какой-то... Я хотел себя уважать. Я ведь по-прежнему, несмотря ни на что, считал себя человеком с определенными принципами, в том числе и нравственными.

Я заглянул в радиорубку, оживил заснувший ноутбук (я его не выключал, поскольку не знал пароля), и, войдя в Интернет, проверил почту. В папке входящих было только одно сообщение – «Мы вас потеряли, дайте свои координаты. Находимся...». Судя по данным, наши преследователи крутились много южнее нас.

Теперь надо было включить систему спутниковой навигации. За минуту нас не успеют засечь. Блок тихо загудел и, дисплей, мигнув, высветил нашу голубоватую точку. Вокруг нее на расстоянии пятьдесят миль было пусто. До береговой черты оставалось миль восемьдесят.

Прошло сорок минут, как я покинул шефа, – он должен был еще спать... Я сказал себе, что сейчас войду – а шефу лучше. Я даже заготовил соответствующую улыбку. Но шеф не спал – и,

встретившись с ним взглядом, я вздрогнул. Я остановился в дверях и молча смотрел на него. Я не знал, догадывается ли он о моих подвигах, и ждал, что будет дальше.

– Ты еще здесь? – сказал он недовольно. – Я же велел тебе взять портфель с деньгами. Мне не нравится, что они здесь без присмотра. Я устал их охранять. Я хочу спокойно поспать, а не охранять деньги. И выгони этих женщин. Что они тут делают?

Кого он тут видел – сколько же смертей околачивалось здесь? По чью душу они пришли?

– Хорошо, шеф, – сказал я.

Я вытащил из сумки спасательный жилет, обернул им портфель и сунул сверток подмышку. Шеф внимательно следил за моими действиями, чтобы поправить, если что не так.

– Зачем столько кэша, шеф? – спросил я. Этот вопрос мучил меня со вчерашнего дня.

– Мои счета арестованы, – помолчав, сказал шеф. – Это все, что я успел снять... И хватит об этом.

За иллюминатором над кромкой вспаханного волнами моря висело огромное оранжевое солнце. Горизонт поднимался и опускался, как в соитии, только неясно с кем. Над ним горело вечернее небо, украшенное веером тучек, словно какими-то письменами. Пир Валтасара. МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН...

Я повернулся, чтобы уйти, но шеф остановил меня:

– Вот что... принеси мне какую-нибудь емкость. Ссать хочу. Только не знаю – как. Не повернуться...

Я порыскал взглядом, но ничего подходящего не нашел, кроме хрустальной вазы с орхидеей.

– Ваза устроит?

– Давай ее сюда, – усмехнулся шеф. – Во всяком случае, не параша.

Я вынул орхидею, почувствовав пальцами ее тоску о хозяевах яхты, которых я запер, и аккуратно, старясь не смять лепестки, положил цветок на столешницу. Орхидея лежала лицом вниз, и видно было, что она боится меня. Я выплеснул из вазы воду в иллюминатор и поднес шефу. Лежа на боку, он растянул ширинку и вставил член в узкое горлышко. Член у него был маленький и едва ли вдохновлял Макси. Чтобы моча не вылилась из горлышка, я надавил коленом на край матраса, придавая вазе наклон. В глубине матраса недовольно пискнула пружинка. Мне еще не приходилось помогать шефу таким вот образом, и нам обоим было неловко. Когда-то так ухаживала за мной Маша. Помогать тяжелобольным – дело святое, здесь проявляется наше милосердие и сострадание, которые издревле считались главными из человеческих добродетелей, но для этого надлежало переступить через какой-то порог. В моих отношениях с шефом такого еще не было – он к себе не подпускал. Вдавлив матрас, я придерживал у основания вазу, а он мочился в нее – и оба мы смотрели в разные стороны.

– Все, – облегченно вздохнул он.

Пока я возился с шефом, за иллюминатором совершился короткий закат, небо стало багровым и письма на нем превратились в большие кляксы.

– Давай, – сказал шеф, – иди смени Макси.

Он забыл, что ее больше нет, но я не стал ему напоминать.

– Сколько нам еще до берега? – спросил он.

– Часа три-четыре, – ответил я.

Когда я вышел на палубу, небо почти померкло, только на западе над горизонтом еще угадывалась карминная подсветка, а высоко над нею между облаками выглянула Венера, вечная звезда влюбленных. Еще одна подсветка – от приборной доски – выделяла из тьмы лицо Макси, внимательно смотревшее на меня.

Я вздрогнул. На мгновение мне показалось, что это действительно она, живая, невредимая, догнавшая вплавь катер и взобравшаяся на него, но это была лишь моя мысль о ней.

– Иди, шеф зовет, – сказал я, но она не двигалась. Я заставил себя пройти сквозь нее и взялся за штурвал. В утробе яхты рыкнул мотор, и Макси исчезла.

К ночи качка стихла, стало тепло и душно, в воздухе уже ощущалась близость земли. Однако море в той стороне, куда я шел, оставалось темным, только на восток от нас у линии горизонта нарисовались огни какого-то судна, видимо, большого. Проследив за ним с полчаса, я решил, что оно идет параллельным курсом. Вряд ли это могли быть наши преследователи...

Небо постепенно заволочло тучами, что скрыли и Венеру и прочие звезды, стал накрапывать мелкий теплый дождь. Я натянул над собой тент. Часа полтора я шел на средних оборотах – блеклое пятно судна справа, не приближалось и не удалялось – судя по скудному освещению, скорее грузовое, чем пассажирское, – и я потерял ему интерес... Я всматривался в даль перед собой, ожидая наконец увидеть зарево береговых огней, но прямо по курсу было по прежнему темно, да и видимость заметно упала, так что и судно, неспешно идущее к Сардинии я тоже потерял из виду. На море поднимался туман.

«Отлично, – подумал я, – фортуна нам явно улыбается. Мы незаметно минуем морской патруль, тихо пристанем среди других яхт, как бы вернувшись с вечерней прогулки, я сбегаю и возьму такси и отвезу шефа в какую-нибудь частную клинику, которую сам таксист нам и назовет, а утром пусть они все приходят – полицейские, пограничники, таможенники, пусть исследуют нашу яхту и берут интервью у обнаруженных Накиса и Талассы, – бледные, усталые, потирая красные следы от наручников, заложники расскажут всеми миру об этих ужасных русских, от которых в Европе, да и на всех прочих континентах, одна беда. Эх, зря выпустили на волю русского медведя. Сидеть бы ему в берлоге и сосать лапу».

Нет, частная клиника – это тоже опасно. Небось, все предупреждены и ждут, капканы расставлены... Пусть таксист повезет нас к себе домой и сам вызовет доктора с набором хирургических инструментов для изъятия маленькой свинцовой пульки – ничего, приедет и посреди ночи, деньги все любят. Спасательный жилет с портфелем внутри покоился тут же на сидении. Я открыл портфель. Не так уж и много. Двадцать три пачки – двести тридцать тысяч. Двадцать шеф промотал. Я засунул их обратно в целлофановый пакет и завязал узлом. Пакет надулся и ходил пузырями, пока я впихивал его в портфель. Я пока так и не нашел для него укромного местечка. Все-таки что ни говори, у денег есть аура. Каждая сотка прошла через столько рук и глаз, что напиталась энергетикой по самые уши. Именно поэтому деньги притягивают деньги.

Теплый дождик – а точнее водяная взвесь стояла в воздухе и миллионами касаний щекотала мне кожу. Видимость упала до двух метров – будто нас накрыло одеялом из пара, и странно было слышать снизу мягкий плеск и шорох рассекаемой водной глади – казалось, откуда здесь море? Так прошло еще полчаса и вдруг занавес влаги раздвинулся и я, как на авансцену, вышел на чистый простор, обозначенный далеко впереди, куда устремлялись сходящиеся линии перспективы, заревом огней. Земля! Я сделал это! До берега оставалось мили полторы. Оттуда дул легкий ветер, мне казалось, что я угадываю в нем запахи человеческого жилья.

Мне так хотелось поделиться новостью, что я выключил мотор и спустился в каюту. Шеф, тяжело дышал, лежа на животе. Странное чувство силы и жалости охватило меня, пока я смотрел на него, спящего. Сон делал его уязвимым, зависимым от меня, бодрствующего, мне хотелось властвовать над ним и в тоже время его защищать... Крадучись, я прошел дальше и неслышно прикрыл за собой дверь, ведущую в коридор. Я вошел к Талассе и включил свет – она сидела на полу, прислонившись к стене и, свесив голову на грудь, спала, но тут же проснулась и подняла на меня сонный взгляд:

– Ты за мной?

– Да, – сказал я.

– Шея затекла, – виновато улыбнулась она, подбирая под себя ноги, пряча их под широкие полы халата. – Больно. Можешь помассировать?

– Просто обязан, – сказал я. Мне не терпелось прикоснуться к ней. Теперь мы были с ней на одной волне, и оба чувствовали это. Чтобы не разрушить нашу связь, я решил не говорить ей про берег, который нас несомненно разлучит.

– Отвяжи меня от этой проклятой трубы, – сказала она.

Я не без труда развязал тугой и мокрый узел рубашки.

Таласса поднялась на колени и просительно посмотрела на меня, подергав руками за спиной.

Я помотал головой – освобождать ее от наручников я не собирался.

Она с молчаливым укором глянула на меня – не веришь, дескать, и выразительно вздохнула. Ничего, пусть потерпит, немного осталось, так немного, что я готов был развернуть яхту и снова отправиться в открытое море. Я не хотел терять Талассу. Я подошел к ней, стоящей на коленях, и коснулся ее шеи. Шея у нее была гибкая и высокая, как у балерины. Ременные мышцы на задней ее стороне действительно были в тонусе, и я стал осторожно приводить их норму мелкими нежными вибрирующими движениями, разогревающими клетки ткани. Эта профессиональная нежность, имеющая лишь физиологический аспект воздействия, тем не менее впечатлила Талассу – я услышал, как она чутко замерла, и это возбудило меня, будто я просто ласкал свою любимую. Да так оно, впрочем, и было. Я хотел ласкать, хотел прикасаться к телу любимой женщины, хотел освободиться от темных сил, от демонов – мне хотелось быть честным, чистым и ни в чем не виноватым, и чтобы у меня был отец, главный человек в моей жизни, сильный и умный и чтобы он вошел и сказал, положив мне руку на голову: «Ты молодец, сынок. Я тобой горжусь».

Пока шеф был сильный, он был мне отцом. А теперь...

В ответ на ласку моих рук Таласса, словно возобновляя нашу давешнюю любовную игру, потянулась ко мне головой и ее гладкий лоб, в обрамлении ее упруго выющихся волос, уперся прямо мне в ширинку джинсов, под которыми снова давало о себе знать желание. Уловив это, Таласса поводила лбом по выпуклости, словно приглашая мое естество на выход, и я расстегнул молнию. Я уже был готов, но именно по этой причине, не сразу смог высвободить его, тупо упершегося в гульфик моих тугих плавок. Подняв на меня сверкнувшие белками глаза, будто испросив разрешение, она высунула длинный и узкий кончик розового языка и поводила им по уздечке. Ощущение было сладкое, пронзительное и сокровенное, такое могла вызвать только лишь любящая, близкая, ближе не бывает, душа, поместившаяся там, на кончике языка. Затем темные, щедрые губы Талассы, словно очерченные черным карандашом, разомкнулись, явив влажный розовый испод и в следующее мгновение сомкнулись на мне. Я ревниво следил за выражением ее лица, движением век, трепетом ноздрей, подкожными сокращениями мышц лба, управлявших бровями, пытаясь уличить ее в насилии над самой собой, притворстве, – но нет, от облика Талассы исходила мудрая, плавная страсть, хорошо знающая цену любовным ласкам и умеющая их дарить.

Меня прошибло слезами детства и, содрогнувшись от них, я подумал: «Вот тебя и приласкали».

Рот Талассы своей упругой силой и предприимчивостью едва ли уступал ее живой энергичной вагине, и мгновение я колебался в выборе точки приложения своей собственной энергии, но когда я решил было высвободиться, она прытко прихватила меня губами, и мой неудачливый беглец уступил и остался, омываемой ее сладкой слюной и обволакиваемый негой. Она меня сосала и сосала, как голодный младенец материнскую грудь, она исполняла благодарную песню ласки без слов и без голоса, и этому не было названия... Я взял ее груди в ладони и поглаживал, сжимал их,

словно в ожидании, когда из набухших сосков брызнет млечная влага, вернув меня в мои лучшие годы, когда я весь умещался – от одного соска до другого – в перекрестье материнских рук...

Господи, думал я, весь во внутренних слезах, так меня еще никто никогда не ласкал, Господи, зачем ты подстроил эту встречу, сделай так, чтобы все было хорошо, я не хочу терять эту женщину. Господи, отдай ее мне, и я с ней ни на секунду не расстанусь до конца долгих дней моих. В истоме невесомости, вибрируя, как струна, я держа ее за груди, стал поднимать с ее колен, чтобы прикоснуться губами к этим соскам. Подняв глаза и что-то увидев в моем лице, она на этот раз отпустила меня и стала послушно выпрямляться, вот уже ее лицо замерло рядом с моим, я же, отпустив груди, достал из потайного кармашка ключ от наручников и, заключив Талассу в объятия, освободил ей руки.

Я сел на пол и потянул Талассу к себе. Я больше не опасался ее. Открыв полы халата, она легла на меня сверху во всю длину, и мы лежали так, просто обняв друг друга, тело к телу, потом сверху оказался я, и она раскрыла для меня ноги.

И больше ничего, потому что в следующий момент раздался страшный удар, все затрещало, свет погас и меня опрокинуло в гудящую бездну. Вода вокруг кипела и какая-то огромная тяжесть, неумолимо тащила за собой. Тяжесть эта висела на моей ноге, чуть не срывая с меня джинсы. Остатком сознания я понял, что еще несколько секунд, и я уже никогда не вернусь на поверхность, где небо и земля и огни на ней. Уже инстинктивно, я расстегнул пуговицу на поясе, джинсы соскользнули с меня, и я, почувствовав, что свободен, уже в беспамятстве судорожно рванул вверх.

Вынырнув и сделав глубокий вдох, я увидел уходящую к берегу темную рокочущую махину судна в огнях. Я истошно закричал, но меня, конечно, никто не услышал и не увидел. Яхту, видимо, расколело, как орех и тяжелый двигатель потащил ее на дно...

Потом я поплыл. Нужно было собраться с духом и проплыть оставшиеся полторы-две мили... Огни уходящего судна были уже далеко, а еще дальше светились другие огни.

Май 2003 - март 2004